



Генрих Бёлль

Heinrich von Kleist

Глазами клоуна
Бильярд в половине десятого

Библиотека классики (АСТ)

Генрих Бёлль

**Глазами клоуна. Бильярд
в половине десятого**

«Издательство АСТ»

1959, 1963

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

Бёлль Г.

Глазами клоуна. Бильярд в половине десятого / Г. Бёлль —
«Издательство АСТ», 1959, 1963 — (Библиотека классики (АСТ))

ISBN 978-5-17-152711-2

Глазами клоуна (1963) Действие впервые опубликованного в 1963 году романа Бёлля, который критики называли «немецким «Над пропастью во ржи», происходит в течение всего лишь одного дня жизни Ганса, но этот день, в котором события настоящего перемешаны с воспоминаниями о прошлом, подводит итоги не только жизни самого печального клоуна, но и судьбы всей Германии — на первый взгляд счастливой и процветающей, а в действительности глубоко переживающей драму причастности к побежденному, но еще не забытому «обыкновенному фашизму». Бильярд в половине десятого (1959) Архитектору Генриху Фемелю исполняется восемьдесят лет. Юбилей — хороший повод для того, чтобы подвести итоги прожитой жизни. Его победа — победа безывестного чужака в конкурсе на возведение аббатства Святого Антония — сулила полную и счастливую жизнь... А в итоге — обманутые ожидания... Жена Генриха содержится в привилегированной лечебнице для душевнобольных, младший сын Отто, еще в юности перешедший на сторону палачей, готовых утопить мир в крови, стал чужим в своей семье... В этом дне, ставшем поворотным в судьбе героев романа, сфокусировалась вся трагическая история Германии второй половины XX века...

УДК 821.112.2
ББК 84 (4Гем)

ISBN 978-5-17-152711-2

© Бёлль Г., 1959, 1963

© Издательство АСТ, 1959, 1963

Содержание

Глазами клоуна	7
I	7
II	11
III	13
IV	14
V	17
VI	21
VII	23
VIII	37
IX	44
X	53
XI	58
XII	65
XIII	69
XIV	75
XV	77
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Генрих Бёлль
Глазами клоуна
Бильярд в половине десятого

Heinrich Böll

ANSICHTEN EINES CLOWNS

First published in the German language as «Ansichten eines Clowns» by Heinrich Böll

BILLARD UM HALBZEHN

First published in the German language as «Billard um halbzehn» by Heinrich Böll

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Cologne / Germany, 1959, 1963, 1985,
1987, 2002, 2004

© Перевод. Р. Райт-Ковалева, наследники, 2022

© Перевод. Л. Черная, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

Серийное оформление и дизайн обложки В. Воронина

* * *

Глазами клоуна

Не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают.

Посвящается Аннемари

I

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам – на перрон, вверх – с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску – купить вечерние газеты, выйти на улицу, позвать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила – видимо, ее и зовут судьбой – всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я – клоун, официальное наименование моей профессии – комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает – отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то немудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты – какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка – и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правоверные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней – меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати),

моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже «Tantum Ergo»¹ или акафист Деве Марии – мои любимые лекарства – почти не помогают. Есть временное лекарство – алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, – Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик – упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать из-за кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок – в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка – простая водка, вместо варьете – какие-то сомнительные фереины, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву – не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если Бог даст, и окончу свои дни, – пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубашку за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытие и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

– Говорит Костерт, – сказал он ледяным голосом холуя, – надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

– Пожалуйста, – сказал я, – разве вам что-нибудь мешает?

– Вот как! – сказал он.

¹ «Tantum Ergo [sacramentum] ...» – «Эту Тайну Пресвятую...» (лат.)

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

– Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести... – Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой – обыкновенным хамом. – Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

– Вы меня слушаете?

Я сказал:

– Да, слушаю. – И опять подождал.

Молчание – отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня – для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

– Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

– Слушайте меня внимательно, господин Костерт, – сказал я. – Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

– Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

– Хорошо, – сказал я, – тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

– А вы не можете захватить вещи в такси?

– Нет, – сказал я. – Я расшибся и ничего не могу поднимать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

– Господин Шнир, – сказал он мягко. – Простите, что я...

– Ничего-ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю – он непременно позвонит и снова начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что, кроме меланхолии и мигреней, я обладаю еще одним, почти мистическим свойством – чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода – канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, – моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться –

на «ты» или на «вы», и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не понимал Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

– Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

– Оставьте меня в покое! – крикнул я. – Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси – всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Вышло около пяти марок.

– Все в порядке? – крикнул он за дверью.

– Да, – сказал я, – убирайтесь отсюда, скупердяй божий!

– Но позвольте... – начал было он, и я заорал:

– Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети брэнного мира не только умнее, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал на трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс, – за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступить не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра сердечный привет Ганс».

II

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подзвать такси – я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу – две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подниматься вверх, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь – перекрытие – и снова в слегка сдвинутой перспективе – спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый – только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание – это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами, – это Мари, и с тех пор как она от меня ушла, я живу, как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские куши, где, как они полагают, любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и – конечно, не без задней мысли – обратить меня когда-нибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала они все

вместе молились, а я не знал, куда девать руки, лицо; нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «...и молим Тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли к теме вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того, чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда, кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живется неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока наконец даже прелат – духовный наставник этого кружка – Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.

III

Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире – тепло, чисто, и когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, все-таки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.

И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами – зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сантименты, тут они не дали бы маху – во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моника – слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется, «Тайга».

Я прикурил сигарету Моника от Моникаиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моника. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину и посмотрел на ободранное колено: царапины были неглубокие, опухоль незначительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати – пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабачках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать – пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по-моему, ванна – вовсе не роскошь, а когда едешь с пятью чемоданами, то и такси не транжирство. Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна-единственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, – это велосипед, но если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.

IV

Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию – Цюпфнер был его крестным при обращении. Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончилась война, – прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходящем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной – маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму.

Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень-то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высятся чертоги славы», а также «Ты видишь – алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему – я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.

А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и, когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит. Да, мы знали: там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым, – говорил Брюль, – кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в сединах, преподаватель педагогической академии, и считается человеком «с достойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии национал-социалистов.)

Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденький суп, на второе – картофель с соусом, а на третье – яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:

– Что за чепуха, какой там пикник! Она уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!

И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока – все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:

– Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.

Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».

– Наша священная немецкая земля, – сказала она, – они уже в самом сердце Эйфеля.

Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакошенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и несколько «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев – те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стекло на ночном столике. Генриетта в синей шляпке с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузенном».

Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю»; села, леса, замки – все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.

Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки», – это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебным гранатометом на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:

– Ты что это делаешь?

И он с невероятной серьезностью ответил:

– Я буду «вервольфом», а ты разве нет?

– Ну как же, – сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: где-то там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчиков спросил, как звали этого героя, я сказал:

– Рюбецаль.

Герберт Калик весь пожелтел и завопил:

– Презренный пораженец!

Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет – ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:

– Нацистская свинья!

Где-то я прочел это слово – кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу столовую. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:

– Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!

Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему на адрес педагогической академии, попрошу разъяснить – ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель ортсгруппенляйтнера Левених вел себя сравнительно разумно. Он говорил:

– Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!

И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:

– Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.

– Но тебе его никто не говорил? – спросил он. – Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?

– Нет, – сказал я.

– Мальчик даже не понимает, что говорит, – сказал мой отец и положил мне руку на плечо.

Брюль свирепо воззрится на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.

Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:

– Он сам не знает, что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.

– Ну и отрекайся, – сказал я.

Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкапами со свинцовым переплетом стекол.

Я слышал раскаты артиллерии на Эйфеле, всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции – собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснушчатый мальчуган по имени Георг – он нечаянно взорвал и себя и Аполлона фаустпатроном. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:

– К счастью, Георг был сиротой!

V

Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба – мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредебойль, Блотерт, Зоммервилльд; а между этими двумя столбцами – имя Монике Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо – и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямо-таки ужасным: оттого что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колени, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал от того, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить «вожделение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вождеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и цюпфнеровский телефон – я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна. Шесть лет – это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная – какая-то драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя фаустпатроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»

Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.

Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречий, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты – никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмот-

рела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала – пятна на скатерти, на платье: Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»

А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» – и бросила все свои карты прямо в горящий камин.

Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы мы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадает ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона – вечно забываю его: Шнир, Альфонс, д-р г.к., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцештрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:

– Квартира доктора Шнира.

– Можно попросить госпожу Шнир?

– Кто у телефона?

– Шнир, – сказал я, – Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.

Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно – мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверно, до нее дошли слухи: отщепенец, бунтарь.

– Могу ли я быть уверена, что это не шутка? – спросила она наконец.

– Да, вы можете быть вполне уверены, – сказал я, – а в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей матушки: родинка слева на подбородке, бородавка...

Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» – и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный – для шахт, черный – для биржи и белый – для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный – для Объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый – для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на Объединенный комитет. Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:

– Объединенный комитет по примирению расовых противоречий.

Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:

– Говорит проездом делегат Объединенного комитета жидовствующих янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.

Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:

– Никак не можешь забыть, да?

Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:

– Забыть? Ты хотела бы этого, мама?

Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шестьдесят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама посто-

янно говорит, что у нее, «может быть, и на небе найдутся связи», – и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.

Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее «мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер – писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и когда Генриетта впадала в забытие, он всегда говорил о «мистическом даре», но стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо».) Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленеха» или какую-нибудь французскую фразу: «La condition du Monsieur le Comte est parfaite»². Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:

– А как папа?

– О-о, – сказала она, – он постарел... постарел и стал мудрее.

– А Лео?

– О, Лэ, он очень прилежен, очень, – сказала она, – ему предсказывают блестящую будущность в теологии.

– О Господи, – сказал я, – только подумать, Лео – будущий богослов!

– Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество, – сказала моя мать, – но ведь дух человеческий не признает препон.

Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я как-то прочел один из его романов – «Любовь французов», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой – пленный французский лейтенант – был блондин, а героиня – немецкая девушка с Мозеля – брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо», – кажется, это случалось раза два, – но утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его как-то походя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную «Христианскую мистику» Герреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные поднимают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; за это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопrotивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение – меня в юнгфольк, а Генриетту в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер... – голос у него по-настоящему дрогнул, – наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.

– А что делает сейчас Шницлер? – спросил я мою мать.

² Граф чувствует себя превосходно (*фр.*).

– О, у него все отлично, – сказала она, – в министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут.

Видно, она все забыла, удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие янки» ей что-то еще напоминает. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней.

– А дедушка как? – спросил я.

– Изумительно, – сказала она, – он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится.

– А это очень просто, – сказал я, – таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точат. Он дома?

– Нет, – сказала она, – он на полтора месяца уехал на Искью.

Мы оба замолчали. Я еще не вполне овладел своим голосом, не то что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно:

– Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи.

– Ах так? – сказал я. – И ты, наверно, испугалась, что я стану просить у вас денег? Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите, так что придется требовать по закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он «жидовствующий янки», но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий.

Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала что-то насчет принципов. Но, в общем, от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов: «Настоящая дама никаких запахов не испускает». Вероятно, оттого мой отец и завел себе такую красивую любовницу, она-то, наверно, не «испускает» никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает.

VI

Я положил себе под спину кучу подушек, задрал больную ногу повыше, пододвинул телефон и стал раздумывать: может быть, все-таки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком?

Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно злорадно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Все-таки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео – Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом, хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет «куда выше среднего уровня», и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы – осталось-то всего двадцать два года. Что Цонерер всегда во мне одобряет – это мой «широкий профессиональный диапазон»; в искусстве он все равно ни черта не смыслит и мой «диапазон» определяет с почти гениальной наивностью, по кассовому успеху. А в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне тридцати марок и выше. С Мари дело обстоит иначе. Она расстроится и оттого, что я «деградировал как художник», и оттого, что «впал в нищету», хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний – а в этом мире все друг другу посторонние – склонен преувеличивать и плохое и хорошее больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых залах перед домохозяйками-католичками или евангелическими сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорарах. Разумеется, какая-нибудь добросердечная председательница такого общества считает, что пятьдесят марок – вполне приличная сумма, и если человеку так платят за двадцать выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем шесть квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. А когда я ей еще объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца всмятку, котлеты и помидоры, она начинает креститься и думает, наверно, что я оттого такой тощий, что не ем никаких «питательных» блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «братец-не-сердись», она наверняка решит, что я какой-то жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не выходит: за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоил раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня, но за вечер не зарабатывал и десяти марок. Звали его Джеймс Эллис, ему было под сорок, и когда я пригласил его поужинать – нам подали яичницу с ветчиной, салат и яблочный пирог, – ему стало нехорошо: он лет десять не ел столько сразу. С тех пор как я познакомился с Джеймсом Эллисом, я уже ни о деньгах, ни об искусстве не разговариваю.

Как будет, так будет, впереди все равно канавы. У Мари в голове совсем другое – она вечно твердит про «наитие», все живут у нее по наитию, даже я: оттого я такой веселый, такой по-своему верующий, такой чистый, ну и так далее. Ужас что творится в головах у этих католиков. Они даже хорошего вина выпить не могут без того, чтобы как-то не перевернуть все, им обязательно надо «осознать», насколько вино хорошее и почему оно хорошее. В вопросах «осознания» они даже марксистам не уступят. Мари пришла в ужас, когда я месяца два назад купил гитару и сказал, что скоро начну сочинять слова и музыку и буду петь песни под гитару. Она сказала, что это «ниже моего уровня», а я ей сказал, что ниже уровня канавы есть еще

только канал, но она не поняла, о чем я, а я ненавижу разъяснять метафоры. Либо меня понимают, либо нет. Я им не талмудист.

Кто-нибудь может подумать, что мои марионеточные нити оборвались, – напротив, я крепко держал их в руках и со стороны видел, как я лежу там, в Бохуме, на сцене этого зальца, пьяный, с расшибленным коленом, слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я вовсе не заслужил сострадания, и мне приятнее было бы услышать свистки; и хромал я нарочно сильнее, чем следовало бы, хотя и расшибся всерьез. Но мне нужно было вернуть Мари, и я начал бороться по-своему – и все ради того, что в ее книжках называется «плотским вождением».

VII

Мне был двадцать один год, ей девятнадцать, когда я вечером просто пришел к ней в комнату, чтобы делать с ней то, что делают муж с женой. Днем я еще видел ее с Цюпфнером. Они вышли, держась за руки, из молодежного клуба, оба улыбались, и меня кольнуло в сердце. Нечего ей было ходить с Цюпфнером, меня мутило от этого дурацкого держанья за ручки. Весь город знал Цюпфнера главным образом из-за его отца, которого выгнали нацисты; он был школьным учителем и отказался после войны занять место директора той же школы. Кто-то даже хотел назначить его министром, но он рассердился и сказал: «Я учитель и хочу снова работать учителем». Это был высокий молчаливый человек, и как учитель он казался мне скучноватым. Один раз он заменял нашего преподавателя немецкой литературы и прочел нам стихи про красавицу Лилофею.

Но мое мнение о школьных делах ровно ничего не значит. Было просто ошибкой заставлять меня ходить в школу дольше, чем положено по закону – законный срок и то слишком долог. Никогда я не жаловался на школу из-за учителей, а только из-за моих родителей. Собственно говоря, этим предрассудком «он обязательно должен получить аттестат зрелости» обязан заняться Объединенный комитет по примирению расовых противоречий. Ведь это же самая настоящая расовая проблема: старшекласники и младшие, учителя, инспектора, люди с высшим образованием и без него – сплошные расы. Когда отец Цюпфнера прочел нам стихи, он немного подождал, потом сказал с улыбкой:

– Может, кто-нибудь хочет высказаться?

И я сразу вскочил и сказал:

– По-моему, стихи чудесные!

Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:

– Хочешь поиграть с нами?

И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:

– Хочешь пойти с нами?

Я спросил:

– Куда?

И он сказал:

– На вечер нашего кружка.

А я сказал:

– Но ведь я вовсе не католик.

И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:

– Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?

– Люблю, – сказал я, – но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.

И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:

– Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.

Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, я знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал у ее отца, а иногда ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а

я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедник-протестант», «Рабочий в день получки», показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:

– Клоуном.

Он сказал:

– Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.

– Нет, – сказал я, – не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.

– То есть как же ты себе это представляешь? – спросил он.

– Никак, – сказал я, – никак. Я просто уйду от вас...

Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер – хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик прожил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какие-то записочки, где было только одно слово – «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставала особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс – художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какую-то жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигары, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.

Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девчонках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик как-то назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня

немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожделения». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря, которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и, когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверное, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.

В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденаугассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:

– Алло, кто там?

– Это я! – крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттеснил ее назад, в ее комнату.

Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться – на «вы» или на «ты». На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные волосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал этот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.

– Уходи, – сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и когда она сказала «уходи», а не «уходите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь, – и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.

– Нет, нет, – сказал я, – я не уйду, куда же мне идти?

Она покачала головой.

– Что ж, значит, взять в долг двадцать марок и съездить в Кёльн, а уж потом на тебе жениться?

– Нет, – сказала она, – не ездь в Кёльн!

Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, и она взрослая девушка, я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна и обрадовался, что на столе нет никаких учебников, только шитье и выкройка. Я сбежал вниз, запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет пятьдесят, – между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело; мы невольно засмеялись: она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже как-то кокетливо, а когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался – до того это у нее вышло по-уличному. Наконец мы заговорили, и говорили ужасно много. Она сказала, что думает о «таких» женщинах в Кёльне, которые делают «это» за деньги и, наверно, считают, что «это» можно оплатить, но «это» за деньги купить нельзя, и, значит, все порядочные женщины, из-за которых мужья ездят «туда», перед ними в долгу, а она не хочет быть в долгу перед «такими женщинами». Я тоже много говорил, я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую «плотскую» любовь и про другую любовь, – все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого, и она

спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее, а я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать «это», и я всегда думал только о ней, когда думал «об этих вещах», даже еще в интернате, да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари встала и пошла в ванную, а я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно, я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минуту помедлила, потом сказала «да», я вошел, и как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она туалетной водой побрызгала на волосы, потом стала пудриться, и я спросил:

– Чего это ты делаешь?

А она сказала:

– Хочу быть красивой.

Слезы прорывали маленькие бороздки в пудре – она слишком густо напудрилась, и тут она сказала:

– Может быть, тебе все-таки лучше уйти?

Но я сказал:

– Нет.

Она побрызгалась одеколоном, а я сидел на краю ванны и размышлял: хватит ли нам двух часов? Ведь больше получаса мы уже проболтали. В школе у нас были специалисты по этому вопросу, они рассказывали, как трудно сделать девушку женщиной, и у меня никак не выходил из головы Гунтер, которому сначала пришлось послать за себя Зигфрида, и я вспомнил, какая ужасная резня началась у этих нибелунгов из-за этого дела и как в школе, когда мы проходили «Нибелунгов», я встал и сказал патеру Вунибальду: «Собственно говоря, ведь Брюнхильда и была женой Зигфрида», а он усмехнулся и сказал: «Но женат он был на Кримхильде, мой мальчик», а я разозлился и стал утверждать, что это толкование я считаю «поповским», и патер Вунибальд тоже разозлился, застучал костяшками по кафедре и сказал, что запрещает «такие оскорбления».

Я встал и сказал Мари:

– Ну чего ты плачешь?

И она перестала плакать и загладила пуховкой следы слез. Прежде чем вернуться к ней в комнату, мы постояли у окна в прихожей и поглядели на улицу: был январь, улица мокрая, желтели фонари над асфальтом, зеленела вывеска над овощной лавкой: «Эмиль Шмиц». Я знал Шмица, но не знал, что его имя Эмиль, и это имя Эмиль при фамилии Шмиц показалось мне неподходящим. Прежде чем мы вошли в комнату Мари, я чуть-чуть приоткрыл дверь и потушил там свет.

Когда ее отец вернулся, мы еще не спали, было почти одиннадцать часов. Мы слышали, что перед тем как подняться наверх, он зашел в лавку взять сигарет. Мы оба думали: наверное, он что-нибудь заметит, все-таки произошло что-то невероятное. Но он ничего не заметил, только минуту прислушивался у двери и поднялся наверх. Мы слышали, как он снял башмаки, бросил их на пол, потом слышали, как он покашливает во сне. Я думал о том, как он к этому отнесется. Он давно перестал быть католиком, давным-давно вышел из церкви и вечно ругал при мне «лживую мораль буржуазного общества в вопросах пола» и ненавидел «жульнический обман, который попы называют браком». Но я не был уверен, что он не поднимет скандала, узнав, что мы с Мари наделали. Я его очень любил, и он меня тоже, и у меня было искушение встать вот так, среди ночи, пойти к нему в спальню и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что я уже достаточно взрослый, мне двадцать один год, и Мари тоже достаточно взрослая, ей девятнадцать, и что в некоторых вопросах откровенность между мужчинами в тысячу раз неприятнее молчания, а кроме того, я понял: его это, в сущности, касалось куда меньше, чем я раньше думал. Не мог же я на самом деле пойти к нему заранее, среди бела дня и заявить:

«Господин Деркум, сегодня я проведу ночь у вашей дочери», а о том, что случилось, он все равно узнает.

Немного позже Мари встала, поцеловала меня в темноте.

– Я пойду в ванную, а ты умойся тут. – И она потянула меня за руку с кровати и, не выпуская моей руки, повела в темноте в угол, где стоял умывальник, заставила меня нащупать кувшин, мыльницу, таз и вышла.

Я вымылся, снова лег в кровать, удивляясь, отчего Мари так долго не идет. Я устал до чертиков, радовался, что без страха могу вспоминать о проклятом Гунтере, а потом испугался: вдруг с Мари что-нибудь случилось. В интернате мне рассказывали жуткие подробности. Я опять подумал об отце Мари. Все считали, что он коммунист, но после войны, когда его хотели назначить бургомистром, коммунисты сделали так, что он не прошел, но каждый раз, когда я сравнивал коммунистов с нацистами, он свирепел и говорил: «Большая разница, мальчик, погибнет ли человек на войне ради интересов мыльной фирмы или умрет за дело, в которое верит». До сегодняшнего дня я не понимаю, кем он был на самом деле, но когда Кинкель однажды в моем присутствии обозвал его «гениальным сектантом», я чуть не плюнул Кинкелю в физиономию. Старик Деркум принадлежал к тем редким людям, которые внушали мне уважение. Он был худой, суровый, выглядел много старше своих лет и от постоянного курения дышал тяжело. Все время, пока я ждал Мари, я слышал кашель из его спальни и казался себе подлецом, хотя знал, что я вовсе не подлец. Один раз он мне сказал: «А ты знаешь, почему в барских домах, вроде твоего родительского дома, горничным всегда дают комнату рядом с комнатой подрастающих мальчиков? Я тебе объясню почему: это древний, как мир, расчет на голос природы и сострадание». Мне очень хотелось, чтобы он вошел в комнату и застал меня в постели Мари, но идти к нему и, так сказать, «докладываться» у меня охоты не было.

Уже начинало светать. Мне было холодно. Удручала бедность комнаты Мари. Все давно считали, что Деркумы впали в бедность, и приписывали это политическому фанатизму отца Мари. У них когда-то была маленькая типография, небольшое издательство, книжная лавка, а теперь осталась только лавчонка письменных принадлежностей, где школьники могли купить и разные лакомства. Мой отец как-то сказал мне: «Видишь, как далеко может завести человека фанатизм, а ведь у Деркума после войны, как у человека, подвергавшегося политическим преследованиям, были все шансы стать владельцем газеты». Как ни странно, но мне Деркум никогда не казался фанатиком, впрочем, мой отец, вероятно, путал фанатизм с последовательностью. Отец Мари даже молитвенников не продавал, хотя это дало бы ему возможность подработать, особенно перед праздниками.

В комнате у Мари стало уже светло, и тут я увидел, до чего они действительно бедные: в шкафу у нее висело всего три платья – темно-зеленое, в котором, как мне казалось, я видел ее уже лет сто, желтенькое, совсем поношенное, и тот чудесный темно-синий костюм, в котором она всегда ходила на процессии, потом старое, бутылочного цвета зимнее пальто и всего три пары обуви. На миг у меня появилось искушение открыть комод и посмотреть, какое у нее белье, но потом я передумал. По-моему, даже если бы я жил в самом законном браке с какой-нибудь женщиной, я бы все равно никогда не рылся в ее белье. Отец Мари давно перестал кашлять. Был седьмой час, когда Мари наконец вышла из ванной. Я был рад, что у нас с ней было то, чего я всегда хотел, я поцеловал ее и был счастлив, когда она мне улыбнулась. Я почувствовал ее руки у себя на шее – они были совсем ледяные.

Я притянул ее к себе, укрыл и засунул ее ледяные руки себе под мышку, и Мари сказала, что им там так хорошо лежать, как птицам в гнезде.

– А горячей воды у тебя не было? – спросил я.

И она сказала:

– Нет, котел давным-давно не работает. – И вдруг совершенно неожиданно она заплакала, и я спросил, почему она теперь вдруг плачет, и она прошептала: – Господи, ведь я же католичка, ты отлично знаешь...

Но я сказал, что любая девушка, евангелистка или атеистка, тоже, наверно, плакала бы, и я даже знаю почему. Мари посмотрела на меня вопросительно, и я сказал:

– Потому что невинность на самом деле существует.

Она все плакала, и я не спрашивал почему. Я все понимал: вот уже два года, как она ведет эту группу девушек, всегда ходит с ними в процессиях, наверно, они все время говорят про Деву Марию, и вот теперь она кажется себе предательницей или обманщицей.

Я хорошо представлял себе, как все это для нее ужасно. Наверно, это было действительно ужасно, но больше ждать я не мог. Я сказал, что сам поговорю с ее девчонками, и она испуганно отшатнулась и сказала:

– Что? С кем?

– С девчонками из твоей группы, – сказал я. – Действительно нехорошо для тебя вышло, но, если уж тебе будет очень невмоготу, можешь, если хочешь, сказать, что я тебя изнасиловал.

Она рассмеялась и сказала:

– Нет, это глупости, и потом, что ты можешь сказать девчонкам?

И я сказал:

– Ничего я им говорить не буду, просто выступлю перед ними, покажу несколько номеров, и они подумают: так вот он какой, этот Шнир, который сделал с Мари «то самое» – и все будет по-другому, кончатся всякие перешептывания по уголкам.

Мари подумала, опять засмеялась и сказала тихо:

– А ты не такой глупый! – Потом вдруг расплакалась и сказала: – Мне теперь тут и показываться нельзя.

И я спросил:

– Почему?

Но она только плакала и мотала головой.

Ее руки совсем согрелись у меня под мышкой, и чем теплее становились ее руки, тем больше меня одолевал сон. Вскоре ее руки стали согревать меня, и когда она опять спросила, люблю ли я ее и считаю ли я ее красивой, я сказал, что это совершенно ясно, но она сказала, что еще раз хочет выслушать даже то, что ясно, и я сонно пробормотал:

– Да, да, ты красивая, я тебя люблю.

Проснулся я, когда Мари встала и начала умываться и одеваться. Она совершенно не стеснялась меня, и мне казалось естественным смотреть на нее. Стало еще яснее, до чего она бедно одета. Пока она застегивалась и завязывалась, я думал о тех чудесных вещах, которые я купил бы ей, будь у меня деньги. Я и раньше, бывало, останавливался у витрин модных магазинов и смотрел на юбки, свитера, туфли и сумки, представляя себе, как бы ей это пошло, но у ее отца были такие строгие взгляды на деньги, что я никогда не осмелился бы принести ей подарок. Однажды он мне сказал: «Ужасно быть нищим, но худо и еле-еле сводить концы с концами, а так живет большинство людей». – «А быть богатым?» – спросил я и покраснел. Он строго посмотрел на меня, покраснел и сказал: «Слушай, мальчик, дело может плохо обернуться, если ты не перестанешь думать. Если бы у меня еще хватило мужества и веры, что в этом мире можно что-то изменить, знаешь, что я сделал бы?» – «Нет, не знаю», – сказал я. «Я бы, – сказал он и опять покраснел, – я бы основал такое общество, вроде как общество защиты детей богачей. Только дураки применяют понятие «беспризорные» исключительно к детям бедняков».

Много мыслей мелькало у меня в голове, пока я смотрел, как Мари одевается. Я и радовался, и вместе с тем чувствовал себя несчастным, видя, как просто она относится к своему телу. Потом, когда мы с ней переезжали из отеля в отель, я всегда любил по утрам лежать в

постели и смотреть, как она моется и одевается, и если кровать стояла так, что мне оттуда не видна была ванная комната, я ложился в ванну.

В то первое утро я с удовольствием и вовсе не вставал бы, мне хотелось, чтобы она никогда не кончила одеваться. Она тщательно вымыла шею, плечи, грудь, старательно вычистила зубы. Сам я обычно старался избежать утреннего умывания, а чистить зубы для меня до сих пор пытка. Хотя я предпочитаю принимать ванну, но всегда с удовольствием смотрел, как умывается Мари, она была такая чистенькая, и все у нее выходило так естественно, даже то маленькое движение, каким она завинчивала крышку на тюбике с зубной пастой. Я думал и о моем брате Лео, он был такой набожный, добросовестный, точный и всегда говорил, что «верит» в меня. Он тоже сдавал на аттестат зрелости и как будто стыдился, что у него все идет гладко, нормально, хотя ему только девятнадцать, а я в двадцать один год еще сижу в предпоследнем классе и злюсь из-за ложных толкований сказания о нибелунгах. Лео даже был знаком с Мари, они встречались в каком-то кружке, где католическая и евангелическая молодежь обсуждала вопросы демократии и религиозной терпимости. Мы оба, и я и Лео, уже давно считали наших родителей кем-то вроде заведующих молодежным общежитием. Для Лео было ужасным ударом, когда он узнал, что у отца вот уже десять лет есть любовница. Для меня это тоже было ударом, но не в моральном отношении, я отлично представлял себе, как неприятно быть женатым на моей матери, чья обманчивая мягкость проявлялась даже в манере выговаривать «и» и «э». Она редко произносила фразы, где попадалось бы грубое «а», «о» или «у», и, что характерно, она даже имя брата, Лео, сократила в «Лэ». Любимая ее фраза: «Мы, видно, иначе расцениваем вещи», и вторая любимая фраза: «В принципе мне это виднее, тем не менее следует взвесить». Для меня тот факт, что у отца есть любовница, был главным образом шоком эстетическим: к нему это так не шло. Он человек не страстный, не жизнерадостный, и если не считать, что она для него могла быть чем-то вроде сиделки или духовной наставницы (но тогда пышное выражение «любовница» совершенно неуместно), то главная нелепость заключалась именно в том, что к отцу все это никак не шло. На самом деле это была маленькая, хорошенькая певичка, не бог весть какая умная, и отец даже не помогал ей получать выгодные концерты или контракты. Для этого он был слишком воспитанным человеком. Мне все это казалось ужасно нелепым, а Лео очень огорчился. Это разрушало его идеалы. Моя мать не нашла других слов для определения его состояния, кроме: «Лэ переживает кризис». И когда он написал сочинение на «пять» – низшая отметка, – то мама хотела потащить его к психоаналитику. Мне удалось этому помешать: во-первых, я толком разъяснил Лео все, что знал сам об отношениях мужчины и женщины, а во-вторых, я так усердно помогал ему готовить уроки, что он скоро опять стал получать «два» и «три», и мама уже считала, что вести его к психоаналитику не обязательно.

Мари надела зеленое платье, и хотя она никак не могла застегнуть молнию, я не встал и не помог ей – до того было приятно смотреть, как она закидывает руки за спину, видеть ее белую кожу, темные волосы, темно-зеленое платье; я радовался, что она совсем не нервничает, но в конце концов она подошла к кровати, и я поднялся и застегнул ей молнию. Я спросил, почему она встает в такую рань, и она сказала, что отец засыпает только под утро и до девяти будет спать, а ей надо принять газеты, открыть лавку, потому что школьники иногда приходят еще до мессы за тетрадами, за карандашами и карамельками.

– А кроме того, – сказала она, – лучше, если ты уйдешь до половины восьмого. Сейчас я сварю кофе, а ты минут через пять тихонько спустишься в кухню.

Я почти что почувствовал себя женатым, когда спустился в кухню и Мари налила мне кофе, намазала бутерброд. Она покачала головой:

– Немытый, нечесанный, неужели ты всегда выходишь завтракать в таком виде?

И я сказал:

– Да, в интернате им тоже никак не удавалось воспитать во мне привычку мыться рано утром.

– Но что же ты делаешь? – спросила она. – Как-то ведь надо наводить чистоту.

– Обтираюсь одеколоном, – сказал я.

– Но это ужасно дорого, – сказала она и сразу покраснела.

– Да, – сказал я, – но мне одеколон всегда дарит дядя, огромную бутылку, он главный представитель этой фирмы.

От смущения я стал разглядывать кухню, так хорошо мне знакомую: она была маленькая и темная, вроде кладовушки при лавке; в углу – небольшая плита, где Мари оставляла на ночь тлеющие брикеты, как делают все домашние хозяйки: вечером заворачивала в мокрую газету, утром раздувала тлеющий огонь и разжигала печь дровами и свежим брикетом. Ненавижу запах брикетной золы, который стоит по утрам на улицах и в то утро стоял в тесной кухоньке. Было так тесно, что каждый раз, как надо было снять кофейник с плиты, Мари приходилось вставать и отодвигать свой стул, и, наверно, то же самое приходилось делать ее бабушке и ее матери. В это утро знакомая кухонька впервые показалась мне будничной. Может быть, я впервые почувствовал, что значат будни: делать то, что нужно, даже если неохота. Мне совсем не хотелось уходить из этого тесного домика и там, за его пределами, выполнять свой долг, а долг мой был – сознаться в том, что мы сделали с Мари, перед Лео, перед девчонками, да и мои родители, наверно, тоже как-нибудь об этом услышат. Больше всего мне хотелось бы остаться тут навеки и до конца жизни продавать карамельки и тетрадки ребятишкам, а вечером ложиться наверху в постель с Мари и спать с ней рядом, именно спать рядом, как мы спали в предутренние часы, когда я согревал ее руки у себя под мышкой. Мне она показалась пугающей и чудесной – эта будничная жизнь, с кофейником и бутербродами, с вылинявшим голубовато-белым фартуком Мари на темно-зеленом платье, и мне казалось, что только женщинам будни привычны, как их собственное тело. Я гордился тем, что Мари – моя жена, и чувствовал, что я еще не такой взрослый, каким теперь придется быть перед всеми. Я встал, обошел стол, обнял Мари.

– Я никогда не забуду, – сказала она, – как ты грел мои руки под мышкой. Но тебе надо идти, уже половина восьмого, сейчас начнут приходить ребята.

Я помог ей принести пачки газет и распаковать их. Напротив как раз приехал с рынка Шмиц на своем грузовичке, и я отскочил в глубь парадного, чтобы он меня не увидел, но он меня все равно увидел. У соседей зорче глаз, чем у самого черта. Я стоял в лавке, смотрел на свежие газеты – обычно мужчины накидываются на них как сумасшедшие. А меня газеты интересуют только по вечерам или когда я лежу в ванне, а в ванне самые серьезные газеты кажутся мне такими же глупыми, как вечерние выпуски. В это утро заголовок гласил: «Штраус – со всеми вытекающими отсюда последствиями». Все-таки, наверно, лучше было бы поручить передовицы и заголовки кибернетическим машинам. Есть границы, за которыми слабоумие уже должно быть запрещено. Задрезжал звонок в лавке, вошла девчушка лет восьми-девяти, краснощекая, чисто вымытая, с молитвенником под мышкой.

– Дайте подушечек, – сказала она, – на десять пфеннигов.

Я не знал, сколько подушечек надо дать на десять пфеннигов, открыл банку, отсчитал двадцать штук и впервые устыдился своих не очень чистых ногтей – через толстое стекло банки они казались огромными. Девчушка смотрела на меня с изумлением, когда я положил в пакетик двадцать подушечек, но я сказал:

– Все в порядке, можешь идти, – и, взяв ее монетку с прилавка, бросил в кассу.

Мари вернулась в лавку и расхохоталась, когда я ей гордо показал монетку.

– А теперь пора идти, – сказала она.

– А почему, собственно говоря? – спросил я. – Разве мне нельзя дожидаться, пока спустится твой отец?

– Нет, ты возвращайся к девяти, когда он спустится вниз, – сказала она. – Иди же, ты должен все рассказать своему брату Лео, пока он от других не узнал.

– Да, – сказал я, – ты права, а ты, – и я опять покраснел, – разве тебе не надо в школу?

– Сегодня я не пойду, – сказала она, – и вообще больше туда не пойду. Возвращайся поскорее!

Мне было ужасно трудно расставаться с ней, она проводила меня до выхода из лавки, и я поцеловал ее при открытых дверях, так что Шмиц с супругой могли видеть нас с той стороны. Они вылупили глаза, как рыбы, обнаружившие, что крючок давно проглочен.

Я ушел не оглядываясь. Мне было холодно, я поднял воротник куртки, закурил сигарету, сделал крюк через рынок, спустился по Францисканерштрассе и за углом Кобленцерштрассе вскочил на ходу в автобус. Кондукторша открыла мне дверь, погрозила пальцем, когда я остановился около нее, чтобы заплатить за проезд, и, покачивая головой, показала на мою сигарету. Я притушил сигарету, сунул окурочок в карман и прошел в середину. Я смотрел на Кобленцерштрассе и думал о Мари. Что-то в моем лице явно возмутило человека, около которого я остановился. Он даже опустил газету, не дочитав своего «Штрауса – со всеми вытекающими последствиями», сдвинул очки на нос, посмотрел на меня, покачал головой и пробормотал: «Невероятно!» Женщина, сидевшая за ним, – я чуть не упал, споткнувшись о мешок с брюквой, стоявший около нее, – кивнула в знак согласия с его словами и тоже покачала головой, беззвучно шевеля губами.

А ведь я специально причесался гребенкой Мари перед ее зеркалом, на мне была чистая серая совершенно обыкновенная куртка, и борода у меня росла вовсе не так сильно, чтобы один день без бритвы мог придать мне «невероятный» вид. Я не слишком высок и не слишком мал ростом, нос у меня не такой длинный, чтобы его надо было заносить в «особые приметы», в этой графе у меня стоит: «Особых примет нет». Я был не грязный, не пьяный, и все-таки женщина с мешком брюквы возмущалась еще больше, чем мужчина в очках, он только в последний раз безнадежно покачал головой и, снова водворив очки на место, занялся штрафсовскими последствиями, а женщина беззвучно бранилась себе под нос и беспокойно вертела головой, как бы желая поделиться с остальными пассажирами тем, что никак не могли выговорить вслух ее губы.

Я до сих пор не знаю, как выглядят типичные евреи, иначе я мог бы подумать, не принимает ли она меня за еврея, но мне кажется, что дело было не в моей наружности, а в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о Мари. Эта немая враждебность так нервировала меня, что я сошел на остановку раньше и спустился пешком по Эберталлее, прежде чем свернуть к Рейну.

В нашем парке чернели еще влажные стволы буков, краснела свежеекатанная теннисная площадка, с Рейна доносились гудки барж, и, войдя в прихожую, я услышал, как Анна бранилась вполголоса на кухне. Я разобрал только: «добром не кончится... не кончится добром...» Я крикнул в приоткрытую кухонную дверь:

– Анна, я завтракать не буду! – быстро прошел мимо и остановился в столовой.

Никогда еще дубовые панели и деревянная галерея с кружками и охотничьими трофеями не казались мне такими мрачными. Рядом, в гостиной, Лео играл мазурку Шопена. В то время он решил заняться музыкой и вставал в половине шестого, чтобы поупражняться до ухода в школу. От музыки мне показалось, что уже наступил вечер, и я совсем забыл, что это играет Лео. Шопен и Лео никак не подходили друг к другу, но играл он так хорошо, что я про него забыл. Из старых композиторов я больше всего люблю Шопена и Шуберта. Знаю, что наш учитель музыки прав, называя Моцарта божественным, Бетховена – великим, Глюка – неподражаемым, а Баха – грандиозным. Но Бах мне кажется тридцатитомной философией, которая меня приводит в изумление. А Шопен и Шуберт такие земные, такие мне близкие. Я их люблю слушать больше всего.

В парке на берегу Рейна, у самых плакучих ив, кто-то переставлял мишени в дедушкином тире. Наверно, он велел кучеру их смазать. Мой дед изредка созывает компанию «старых дружков», и тогда перед нашим домом на круглой площадке останавливается пятнадцать гигантских автомашин, пятнадцать шоферов зябко топчутся под деревьями меж кустов или играют в скат на каменных скамьях, а когда кто-нибудь из старых дружков попадает в яблочко, слышно хлопанье пробки от шампанского. Иногда дед звал меня туда, и я показывал старичкам всякие штуки – изображал Аденауэра или Эрхарда (это примитивно до уныния) либо представлял целый номер – «Директор предприятия в вагоне-ресторане». Но как я ни старался вложить побольше яду, они все равно хохотали до слез, «надрывали животики», а когда я после представления обходил их с пустой коробкой из-под патронов или с подносом, почти все бросали мне ассигнации. С этими старыми перечницами я отлично ладил, хотя ничего общего между нами не было. Но, наверно, с китайскими мандаринами я бы поладил не хуже. Некоторые развязно давали оценку моим достижениям: «Блестяще! Отменно!» А другие даже изрекали целые фразы: «В малом что-то есть!» Или: «Он еще себя покажет!»

В тот раз, слушая Шопена, я впервые подумал, что надо бы поискать ангажемент, подработать денег. Можно было попросить рекомендацию у деда: я мог бы показывать сольные номера на собраниях капиталистов или развлекать членов правления после скучных заседаний. Я даже подготовил номер «Заседание правления».

Но как только Лео вошел в комнату, Шопен сразу пропал. Лео – очень высокий, светловолосый и в своих очках без оправы – похож не то на суперинтенданта, не то на шведского иезуита. Последний отзвук Шопена растаял в воздухе от одного вида этих отутуженных складок на брюках, даже белый свитер Лео, его красная рубашка с воротничком навывпуск – все было как-то некстати. Стоит мне заметить, что кто-то старается напустить на себя нарочитую небрежность, я впадаю в глубокую меланхолию, так же как от претенциозных имен вроде Этельберт, Герентруда, и я опять увидел, какое сходство у Лео с Генриеттой, хотя он совсем на нее не похож: тот же короткий нос, те же синие глаза, но рот у него другой, и все, что в Генриетте казалось красивым, оживленным, в нем кажется трогательным и неловким. По нему не видно, что он лучший гимнаст в классе, скорее он выглядит так, будто его освободили от гимнастики, хотя у него над кроватью висит с полдюжины спортивных грамот.

Он быстро подошел ко мне, но на полдороге остановился, растерянно растопырил руки и сказал:

– Ганс, что с тобой?

Он смотрел на мои глаза, вернее, на нижние веки, как будто хотел снять с них какое-то пятно, и я заметил, что плачу. Когда я слушаю Шуберта или Шопена, у меня всегда слезы на глазах. Я смахнул пальцем обе слезинки и сказал:

– Вот не знал, что ты так хорошо играешь Шопена. Сыграй эту мазурку еще раз!

– Не могу, – сказал он, – пора в школу, нам на первом уроке дадут темы для выпускного сочинения.

– Я тебя отвезу на маминой машине, – сказал я.

– Не хочу я ездить на этой идиотской машине, – сказал он, – сам знаешь, как я ее ненавижу.

В то время мама только что «безумно дешево» перекупила у приятельницы спортивную машину, а Лео чрезвычайно остро воспринимал все, что могло показаться «задаванием» с его стороны. Только одним способом можно было привести его в бешенство: если кто-нибудь его дразнил или подлизывался к нему из-за наших богатых родителей – тут он краснел как рак и пускал в ход кулаки.

– Сделай исключение, – сказал я, – сядь, сыграй для меня. Хочешь знать, где я был?

Он покраснел, уставился в землю и сказал:

– Нет, не хочу ничего знать.

– Я был у девушки, – сказал я, – у женщины, у моей жены.

– Вот как? – сказал он, не поднимая глаз. – Когда же вы обвенчались?

Он все еще не знал, куда девать руки, хотел было проскользнуть мимо меня, опустив голову, но я удержал его за рукав.

– Это Мари Деркум, – сказал я тихо.

Он выдернул у меня свой рукав, отступил на шаг и сказал:

– Бог мой, не может быть!

Потом вдруг что-то пробурчал и сердито покосился на меня.

– Что? – спросил я. – Что ты сказал?

– Что мне теперь придется ехать на машине. Отвезешь меня?

Я сказал «да», взял его за плечо и вышел с ним через столовую. Я хотел избавить его от неловкости встретиться со мной глазами.

– Пойди возьми ключи, – сказал я, – тебе мама выдаст их, да не забудь удостоверение. И потом, Лео, мне деньги нужны, у тебя еще есть деньги?

– В сберкассе, – сказал он. – Можешь сам взять?

– Не знаю, – сказал я, – нет, лучше перешли мне.

– Куда? – сказал он. – Разве ты уезжаешь?

– Да, – сказал я.

Он кивнул и поднялся наверх.

Только в ту минуту, как он меня об этом спросил, я понял, что уеду. Я зашел на кухню. Анна встретила меня ворчанием.

– А я решила, что ты не желаешь завтракать, – сердито сказала она.

– Нет, завтракать я не буду, – сказал я, – только кофе.

Я сел за чисто выскобленный стол и стал смотреть, как Анна снимает у плиты фильтр с кофейника и ставит его на чашку, чтобы стекал кофе.

По утрам мы всегда завтракали на кухне с прислугой, нам было скучно сидеть в столовой и ждать, пока подадут. Сейчас на кухне была только Анна. Норетта, вторая горничная, была у мамы в спальне, подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалеты и косметику. Наверно, сейчас мама перемалывает своими великолепными зубами какие-нибудь зерна, на лице у нее маска из плацентарных препаратов, а Норетта читает ей вслух газету. А может быть, они сейчас только читают утреннюю молитву, составленную из Гёте и Лютера и подкрепленную обычно какими-нибудь душеспасительными назиданиями, а может быть, Норетта читает матери вслух проспекты новейших слабительных. У мамы целые папки лекарственных проспектов, там все распределено по разделам: «Пищеварение», «Сердце», «Нервы», и как только ей удастся заполучить какого-нибудь врача, она осведомляется у него о всяких «новшествах» – экономит гонорары за консультацию. А когда врач ей посылает после этого какие-нибудь образчики, она на седьмом небе от счастья.

По спине Анны я видел, что она боится той минуты, когда ей надо будет обернуться, взглянуть мне в лицо и заговорить со мной. Мы с ней очень привязаны друг к другу, хотя она никак не может отвыкнуть от неприятной склонности перевоспитывать меня. Она живет у нас уже пятнадцать лет, мама взяла ее из дома своего кузена, евангелического пастора. Анна родом из Потсдама, и уже то, что мы, несмотря на евангелическое вероисповедание, говорим на рейнском диалекте, кажется ей чудовищным, почти что противоестественным. Наверно, протестант, который говорит по-баварски, показался бы ей воплощением самого дьявола. Но к Рейнской области она уже стала понемногу привыкать. Она высокая, стройная и гордится тем, что у нее «походка как у дамы». Ее отец служил каптенармусом в каком-то месте, про которое я знаю только то, что оно называлось «П. П. 9»³. Бесплезно объяснять Анне, что у нас тут не «П.

³ Девятый пехотный полк.

П. 9» – во всем, что касается воспитания молодежи, она неизменно держится правила: «В «П. П. 9» такого не допускали». До сих пор я не разобрался, что же за таинственное воспитательное заведение это самое «П. П. 9», но твердо уверен, что туда меня не взяли бы даже чистить уборные. Особенно часто Анна взывает к «П. П. 9», когда я не умываюсь, а «эта ужасная привычка без конца валяться по утрам в постели» возбуждала в ней такое отвращение, словно я заразился проказой. Наконец она обернулась и подошла с кофейником к столу, но глаза у нее были опущены, точно у монашки, прислуживающей епископу с сомнительной репутацией. Мне было ее жалко, как девчонок из группы Мари. Монашеское чутье Анны наверняка подсказывало ей, откуда я пришел, а вот моя мать никогда ничего не заметила бы, даже если бы я три года жил в тайном браке с какой-нибудь женщиной. Я взял у Анны кофейник, налил себе кофе, крепко схватил ее за руку и заставил посмотреть мне в глаза: она подняла свои выцветшие голубые глаза с дрожащими веками, и я увидел, что она и в самом деле плачет.

– Фу-ты, черт, – сказал я, – да посмотри же мне в глаза, Анна. Наверно, даже в твоём «П. П. 9» люди имели мужество смотреть друг другу прямо в глаза.

– А я не мужчина, – проскулила она, и я выпустил ее руку.

Она повернулась лицом к плите, что-то пробормотала про грех и позор, Содом и Гоморру, и я сказал:

– Что ты, Анна, бог с тобой, ты только вспомни, что они там вытворяли, в Содоме и Гоморре.

Она стряхнула мою руку с плеча, и я вышел из кухни, не сказав ей, что хочу уехать из дому. Только с ней одной я еще иногда говорил о Генриетте.

Лео уже стоял у гаража и тревожно смотрел на ручные часы.

– А мама заметила, что меня не было дома? – спросил я.

Он сказал «нет», отдал мне ключи и отворил ворота. Я сел в мамину машину, вывел ее и подождал, пока сядет Лео. Он напряженно разглядывал свои ногти.

– Я взял сберкнижку, – сказал он, – в переменку пойду за деньгами. Куда их тебе послать?

– Пошли старику Деркуму, – сказал я.

– Поезжай, пожалуйста, – сказал он, – мне давно пора.

Я быстро проехал через сад, по выездной аллее, и мне пришлось задержаться на улице, у той самой остановки, с которой Генриетта уезжала в армию. Несколько девочек, Генриеттиных сверстниц, садились в трамвай: когда мы обогнали трамвай, я увидел еще много девочек Генриеттиных лет – они смеялись, как смеялась она, и на них тоже были синие шляпки и пальто с меховыми воротничками. Если начнется война, их родители отправят их из дому точно так же, как мои родители отправили Генриетту: сунут им немножко карманных денег, несколько бутербродов, похлопают по плечу и скажут: «Будь молодцом!» Очень хотелось подмигнуть этим девчонкам, но я удержался. Люди все понимают не так. Когда едешь в такой идиотской машине, даже девчонке подмигнуть нельзя.

Однажды я дал мальчику в Дворцовом парке полплитки шоколада и отвел ладонью его светлые волосы с грязного лба: он ревел, размазывая слезы по всему лицу, и я только хотел его утешить. Но тут вмешались две женщины, подняли чудовищный скандал, чуть не позвали полицию, и после этого скандала я действительно чувствовал себя преступником, потому что одна из женщин все время повторяла: «Ах ты, грязный негодяй, грязный негодяй!» Это было омерзительно – мне их вопли показались чуть ли не гнуснее настоящего извращения.

Проезжая на большой скорости по Кобленцштрассе, я все время высматривал машину какого-нибудь министра, чтобы поцарапать ему лак. На маминей машине ступицы выдаются так, что ими легко поцарапать любую машину, но так рано министры не выезжают. Я сказал Лео:

– Ну как, ты и вправду решил поступать на военную службу?

Он покраснел и кивнул.

– Мы все обсудили, – сказал он, – и наша группа решила, что это пойдет на пользу демократии.

– Ну что ж, – сказал я, – иди, пусть у них одним идиотом будет больше, я сам иногда жалею, что не годен к военной службе.

Лео вопросительно взглянул на меня, но тут же отвел глаза, когда я на него посмотрел.

– Почему? – спросил он.

– Да так, – сказал я, – очень хотелось бы повидать того майора, который квартировал у нас и хотел пристрелить матушку Винекен. Наверно, он теперь полковник или генерал. – Я остановил машину у Бетховенской гимназии, хотел высадить Лео, но он тряхнул головой.

– Нет, остановись с той стороны, справа от семинарии.

И я проехал дальше, остановился, подал руку Лео, но он криво улыбнулся и протянул мне раскрытую ладонь. Я уже мысленно двинулся дальше и не понял, что ему надо, меня раздражало, что он не сводит глаз с ручных часов. Было всего без пяти восемь, времени у него хватало.

– Не может быть, чтобы ты пошел на военную службу, – сказал я.

– А почему? – сердито спросил он. – Ну, давай сюда ключ от машины!

Я отдал ключ, кивнул и ушел. Все время я думал о Генриетте, я считал безумием, что Лео хочет идти в солдаты. Я прошел через Дворцовый парк, мимо университета, до рынка. Мне было холодно, хотелось поскорее вернуться к Мари.

Когда я туда пришел, в лавке было полно ребят, они брали с полок карамельки, грифели, резинки и клали старику Деркуму деньги на прилавок.

Я протиснулся через лавку в заднюю комнатку, но он не поднял глаз. Я подошел к плите, стал греть руки о кофейник и ждал, что Мари вот-вот придет. Сигарет у меня не было, и я не знал, как быть, когда я попрошу их у Мари, – просто взять или заплатить. Я налил себе кофе и заметил, что на столе стоят три чашки. Когда в лавке стихло, я убрал свою чашку. Очень хотелось, чтоб Мари была тут, со мной. Я вымыл руки и лицо над раковиной у плиты, причесался щеткой для ногтей, лежавшей в мыльнице, расправил воротничок рубашки, подтянул галстук и еще раз проверил ногти – они были совсем чистые. Вдруг я понял, что теперь надо делать то, чего я никогда не делал.

Только я успел сесть, как вошел ее отец, и я сразу вскочил со стула. Он был растерян не меньше меня и так же смущен, вид у него был совсем не сердитый, скорее очень серьезный, и когда он протянул руку к кофейнику, я вздрогнул, не очень сильно, но все же заметно. Он покачал головой, налил себе кофе, пододвинул мне кофейник, я сказал «спасибо», он все еще на меня не смотрел. Ночью, в комнате Мари, когда я все обдумывал, я почувствовал себя совсем уверенно. Мне очень хотелось курить, но я не осмеливался взять сигарету из пачки, лежавшей на столе. Во всякое другое время я не постеснялся бы. Он стоял, наклонившись над столом, совсем лысый, с седым венчиком спутанных волос, и я увидел, что он уже совсем старик. Я тихо сказал:

– Господин Деркум, вы имеете право...

Но он стукнул кулаком по столу, наконец посмотрел на меня поверх очков и сказал:

– О черт, и зачем это надо было... да еще чтобы все соседи были посвящены? – Я обрадовался, что он все знает и не заводит разговор про честь. – Неужели надо было довести до этого, ведь ты же знаешь, что мы из кожи вон лезли ради этих проклятых экзаменов, а теперь... – Он сжал кулак, потом раскрыл ладонь, будто выпускал птицу. – Теперь – ничего!..

– А где Мари? – спросил я.

– Уехала, – сказал он, – уехала в Кёльн.

– Куда уехала? – крикнул я. – Где она сейчас?

– Тихо! – сказал он. – Узнаешь, все узнаешь. Я полагаю, что сейчас ты начнешь говорить про любовь, про брак – можешь не трудиться, уходи! Посмотрим, что из тебя выйдет. Ступай!

Я боялся пройти мимо него.

– А ее адрес? – спросил я.

– Вот, – сказал он и подал мне через стол записку. Я сунул ее в карман. – Ну, чего тебе еще? – закричал он. – Чего тебе надо? Что ты тут торчишь?

– Мне деньги нужны, – сказал я и обрадовался, когда он вдруг засмеялся, хотя смех был странный, сердитый и резкий, один раз он уже так смеялся при мне, когда мы заговорили о моем отце.

– Деньги! – сказал он. – Хорошие шутки! Ну, иди сюда!

И он потянул меня за рукав в лавку, зашел за прилавок, раскрыл кассу и стал двумя руками швырять мне мелочь: по десять пфеннигов, по пять, по пфеннигу, он сыпал монеты на тетрадки, на газеты, я сначала не решался, потом стал медленно собирать монетки, хотел было ссыпать их прямо себе в ладонь, но потом собрал поодиночке, стал считать, и когда набиралась марка, клал в карман. Он смотрел, как я кладу деньги, кивнул головой, вытащил кошелек и протянул мне пять марок. Мы оба покраснели.

– Прости, – сказал он тихо, – о, черт побери, прости меня!

Он думал, я обиделся, но я так хорошо его понимал. Я сказал:

– Подарите мне еще пачку сигарет.

И он сразу пошел к полке за прилавком и подал мне две пачки. Он плакал. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Ни разу в жизни я не целовал ни одного мужчину, кроме него.

VIII

Мысль о том, что Цюпфнер может или смеет смотреть, как Мари одевается, как она завинчивает крышку на тюбике пасты, приводила меня в отчаяние. Нога болела, и я уже сомневался, смогу ли я халтурить, хотя бы на уровне двадцати – тридцати марок за выступление. Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко безразлично – смотреть или не смотреть, как Мари завинчивает крышечку от пасты: по моему скромному опыту, католики вообще не способны воспринимать детали. На моем листке был записан телефон Цюпфнера, но я еще не собрался с духом набрать этот номер. Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Может быть, она действительно вышла замуж за Цюпфнера, а услышать, как голос Мари отвечает: «Квартира Цюпфнера», – нет, я бы этого не вынес. Чтобы позвонить Лео, я обыскал всю телефонную книжку под рубрикой «Духовные семинарии», ничего не нашел, хотя и знал, что есть две такие лавочки – Леонинум и Альбертинум. Наконец я заставил себя поднять трубку и набрать справочную. Меня сразу соединили, и у барышни, ответившей мне, был даже рейнский выговор. Иногда я так скучаю по рейнскому диалекту, что звоню из какого-нибудь отеля на боннскую телефонную станцию, чтобы услышать этот абсолютно невоинственный, мирный говорок, где не слышно звука «р» – именно того звука, на котором главным образом и строится военная дисциплина.

Я только раз пять услышал: «Прошу подождать», потом девушка ответила, и я спросил у нее про «эти самые штуки», где готовят католических священников. Я сказал, что смотрел на «Духовные семинарии» и ничего не нашел; она засмеялась и сказала, что «эти самые штуки» – она очень мило подчеркнула кавычки – называются конвикты, и дала мне оба телефонных номера. Этот девичий голос по телефону немножко утешил меня. Он звучал так естественно, без ханжества, без кокетства, так по-рейнски. Мне даже удалось добиться телеграфа и отослать телеграмму Карлу Эмондсу.

Я никогда не мог понять, почему каждый, кто хочет казаться умным, старается непременно выразить свою ненависть к Бонну. В Бонне всегда было свое очарование, какое-то особое, сонное очарование – бывают женщины, привлекательные именно таким вот сонным очарованием. Конечно, Бонн не терпит никаких преувеличений, а этот город ужасно раздули. Город, который не терпит преувеличений, трудно описать, а это все-таки редкое качество. Каждый ребенок знает, что климат Бонна – климат для пенсионеров: тамошний воздух как-то благотворно действует на кровяное давление. Но что Бонну абсолютно не к лицу – это какая-то защитная колючесть: у нас дома я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами – мамаша у меня любит устраивать приемы, – и все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой самозащиты. Они все с такой вымученной иронией подсмеиваются над Бонном. Я этого кривляния не понимаю. Если бы женщина, очаровательная именно своим сонным очарованием, вдруг стала бы, как дикарка, отплясывать канкан, то можно было бы только предположить, что ее чем-то одурманили, но одурманить целый город им никак не удастся. Добрая старая тетушка может тебе преподать, как вязать пуловеры, вышивать салфетки или сервировать херес, но не ждать же от нее, чтобы она прочла доклад о гомосексуализме или вдруг стала ругаться на жаргоне проституток, по которым в Бонне многие так ужасно скучают. Все это ложные претензии, ложный стыд, ложная спекуляция на противоестественном. Меня бы ничуть не удивило, если бы даже представители святой церкви стали жаловаться на нехватку проституток. На одном из маминых приемов я познакомился с одним партийным деятелем, который заседал в Комитете по борьбе с проституцией, а сам шепотом жаловался мне на нехватку шлюх в Бонне. Раньше Бонн был совсем не так плох: узкие улочки, лавчонки букинистов, студенческие корпорации, маленькие кондитерские с комнатками за магазином, где можно было выпить чашку кофе.

Перед тем как позвонить Лео, я проковылял на балкон – взглянуть на мой родной город. Красивый город – собор, кровли бывшего дворца курфюрста, памятник Бетховену, маленький рынок, Дворцовый парк. Судьба Бонна в том, что в его судьбу никто не верит. С балкона я глубоко вдыхал боннский воздух, он действовал на меня удивительно благотворно: при перемене климата боннский воздух за несколько часов творит чудеса.

Я вернулся с балкона в комнату и без колебаний набрал номер «той самой штуки», где учится Лео. Мне было жутковато. С тех пор как Лео стал католиком, я с ним не виделся. Он сообщил мне о своем обращении со свойственной ему ребяческой аккуратностью, в официальном стиле. «Дорогой брат, – писал он, – настоящим извещаю тебя, что по зрелом размышлении я решил принять католичество и готовить себя к духовному поприщу. В самом ближайшем времени у нас, безусловно, найдется возможность лично побеседовать об этом решающем шаге моей жизни. Любящий тебя брат Лео». Весь Лео был в этом письме, в судорожной попытке по-старомодному начинать письмо, не с местоимения: «Я тебя хочу известить», а «настоящим извещаю». Тут и следа не было того изящества, которое сквозит в его игре на рояле. Эта его деловитость приводит меня в совершенное уныние. Если он и дальше так пойдет, то непременно когда-нибудь станет благородным седовласым прелатом. В эпистолярном стиле отец и Лео одинаково беспомощны: обо всем пишут так, словно речь идет о каменном угле.

Я долго ждал, пока в этом самом учреждении кто-то соблаговолит подойти к телефону, и уже начал было крыть это поповское разгильдяйство всякими словами, соответственно моему настроению, и буркнул: «Вот сволочи!» В эту минуту подняли трубку, и сиплый голос сказал:

– Да?

Я был разочарован. Я надеялся услышать кроткий голос монахини, пахнувший черным кофе и сухим печеньем, а вместо того в трубку кряхтел мужчина и пахло колбасой и капустой, да так пронзительно, что я закашлялся.

– Прошу прощения, – сказал я наконец, – могу ли я поговорить со студентом богословского отделения Лео Шниром?

– Кто говорит?

– Шнир, – сказал я. Очевидно, это оказалось выше его понимания. Он долго молчал. И я опять было закашлялся и сказал: – Повторяю по буквам: школа, неделя, Ида, Рихард.

– Что это значит? – спросил он, и в голосе его мне послышалась та же растерянность, в какой находился и я. Может быть, меня соединили по телефону с каким-нибудь симпатичным старичком профессором, который курит трубку, и я торопливо наскреб в памяти несколько латинских слов и робко сказал:

– Sum frater Leonis⁴. – Мне самому такой прием показался нечестным – наверно, многие хотели бы поговорить с кем-нибудь из тамошних студентов, но по-латыни никогда в жизни и слова не выучили.

К моему удивлению, он вдруг захихикал и сказал:

– Frater tuus est in refectorio⁵, обедает, – добавил он погромче, – господа студенты обедают, отрывать их не разрешается.

– Но дело срочное, – сказал я.

– Смертный случай? – спросил он.

– Не совсем, – сказал я, – почти...

– Значит, тяжелая травма?

– Не совсем, – сказал я, – травма скорее внутренняя.

– Ага, – сказал он, и его голос стал мягче, – значит, внутреннее кровоизлияние.

– Нет, – сказал я, – душевная травма. Речь идет о чисто душевной травме.

⁴ Я брат Льва (*лат.*).

⁵ Твой брат в трапезной (*лат.*).

Очевидно, слово для него было незнакомое, наступило ледяное молчание.

– Бог мой, – сказал я, – ведь человек состоит из души и тела.

Он что-то пробурчал, выражая несогласие с этим утверждением, и, дважды затянувшись трубкой, пробормотал:

– Августин, Бонавентура, Николай Кузанский – вы на ложном пути.

– Душа есть, – упрямо сказал я, – и, пожалуйста, передайте господину Шниру, что душа его брата в опасности, пусть он позвонит, как только кончит обедать.

– Душа, – сказал он холодно. – Брат. Опасность.

С таким же успехом он мог сказать: навоз, хлев, пойло. Мне стало смешно: ведь из этих студентов хотят сделать пастырей человеческих душ, и этот человек не мог не знать слова «душа».

– Дело очень срочное, – сказал я.

Он только проворчал:

– Гм, гм. – Очевидно, ему было совершенно непонятно, что душевные дела тоже могут быть срочными. – Передам, – сказал он, – а что это вы сказали про школу?

– Ничего, – сказал я, – абсолютно ничего. Никакого отношения к школе. Просто воспользовался этим словом, чтобы сказать свое имя по буквам.

– Видно, вы думаете, что они тут, в школе, еще учат буквы? Вы серьезно так думаете? – Он так оживился, что я решил: наконец он попал на своего конька. – Слишком мягкое воспитание нынче, – закричал он, – слишком мягкое!

– Ну конечно, – сказал я. – В школах надо бы порки побольше.

– Вот, вот! – Он прямо загорелся.

– Да, – сказал я, – особенно учителей надо пороть почаще. Значит, вы передадите моему брату?

– Уже записал, – сказал он. – Срочное дело, душевное переживание, в связи со школой. Послушайте, мой юный друг, могу ли я, как безусловно старший по возрасту, дать вам добрый совет?

– Да, прошу вас, – сказал я.

– Не связывайтесь с этим Августином: ловко сформулированные субъективные ощущения – еще далеко не теология, и только вредят юным душам. Чистейшее красноречие с примесью диалектических приемов. Вы не обиделись на мой совет?

– Нет, – сказал я, – сейчас пойду и швырну свой экземпляр Августина в огонь.

– И правильно! – сказал он с восторгом. – В огонь его! Ну, храни вас Бог!

Я чуть не сказал «спасибо». Но мне это показалось неудобным, и я просто положил трубку и вытер пот со лба. Я ужасно чувствителен к запахам, и этот густой капустный дух взбудоражил всю мою вегетативную нервную систему. Я подумал о предусмотрительности церковного начальства: очень мило, что они дают старикам возможность чувствовать себя еще полезными, но я не мог понять, зачем они поручили дежурство у телефона именно этому глухому полупомешанному старикашке. Капустный запах я помнил еще с интернатских времен. Один из тамошних патеров как-то объяснил нам, что капуста подавляет чувственность. Мне было противно даже думать, что во мне или еще в ком-нибудь будут подавлять чувственность. Должно быть, они там день и ночь только и думают, что о «плотских вожделениях», и где-то на кухне, наверно, сидит монахиня, составляет меню, а потом обсуждает его с ректором, и оба сидят друг против друга и вслух ничего об этом не говорят, но про себя при каждом названии блюда думают: вот это подавляет чувственность, а вот это вызывает. Мне это казалось в высшей степени непристойным, как и то, что нас в этом интернате заставляли часами играть в футбол: мы все знали – это делается специально, чтобы мы от усталости не могли думать о девчонках, и мне футбол стал противен. И когда я себе представил, что моего брата Лео заставляют есть капусту, чтобы подавить в нем чувственность, мне просто захотелось пойти в это учреждение

и полить всю их капусту серной кислотой. Этим ребятам предстоит нелегкая жизнь: должно быть, ужасно трудно каждый день проповедовать все эти невероятные вещи – воскресение из мертвых, вечную жизнь. Возделывать виноградник Господень и видеть, что ничего путного там не растет. Генрих Белен, тот, что к нам так тепло отнесся, когда у Мари был выкидыш, как-то пытался объяснить мне все это. Он и себя называл «виноградарем в саду Господнем, неискусным как в духовном, так и в материальном отношении».

Я провожал его тогда домой, мы шли пешком из больницы, часов в пять утра: денег на трамвай у нас не было, и когда он остановился у своих дверей и вытащил связку ключей из кармана, он ничем не отличался от рабочего, который вернулся с ночной смены, небритый, усталый, и я знал, что для него это ужасно – сейчас служить мессу со всеми таинствами, о которых мне рассказывала Мари. Когда Генрих отпер дверь, его экономка уже стояла в прихожей – ворчливая старуха в шлепанцах, гусяная кожа на голых ногах, совсем желтая, и она даже не была монахиней, и ему не мать и не сестра, но она зашипела на него: «Это что такое? Это кто?» Жалкая, затхлая холостяцкая жизнь – нет, черт побери, меня ничуть не удивляет, что родители-католики всегда боятся посылать дочек на квартиру к патеру, не удивляет, что эти несчастные иногда делают глупости.

Я чуть было не позвонил еще раз этому глухому курильщику из семинарии Лео: я с удовольствием поболтал бы с ним о «плотском вожделении». Знакомым патерам я звонить боялся, этот незнакомый, наверно, лучше поймет меня. Очень хотелось спросить у него, правильно ли я понимаю католицизм. Для меня на свете есть только четыре настоящих католика: папа Иоанн, Алек Гиннесс, Мари и Грегори – престарелый негр-боксер, который чуть не стал чемпионом мира, а теперь зарабатывает жалкие гроши, демонстрируя свою силу в варьете. Мы с ним часто встречались на ангажементах. Он был очень набожный, по-настоящему верующий, принадлежал к Третьему Ордену и прикрывал свою широченную боксерскую грудь монашеским плащом. Многие считали его слабоумным, потому что он не говорил почти ни слова и, кроме хлеба с огурцами, почти ничего не ел, и все же он был такой силач, что мог нас с Мари вдвоем носить по комнате на вытянутых руках. Было еще несколько католиков: Карл Эмондс, Генрих Белен, пожалуй, и Цюпфнер. Но в Мари я уже стал сомневаться: ее «метафизические страхи» ничего мне не говорили, а если теперь она начнет делать с Цюпфнером, что делала со мной, она совершит то, что в ее книгах недвусмысленно называется прелюбодеянием и распутством. А этот «метафизический страх» вызывался исключительно моим нежеланием регистрироваться в ратуше и воспитывать наших детей в католической вере. Детей у нас еще не было, но мы постоянно обсуждали, как мы их будем одевать, как разговаривать с ними, как их воспитывать, и мы во всем соглашались, кроме того, чтобы воспитывать их католиками. Я даже соглашался их крестить, но Мари сказала, что я должен дать в этом письменное обязательство, иначе нас не обвенчают церковным браком. На церковный брак я тоже был согласен, но выяснилось, что перед этим нам надо еще зарегистрироваться, и тут я потерял терпение и сказал: «Давай подождем, сейчас уже все равно – годом раньше или годом позже», но она расплакалась и сказала, что я не понимаю, как ей трудно жить в таком состоянии, без надежды, что наши дети получат христианское воспитание. Это уже совсем было плохо, оказалось, что мы пять лет подряд говорили с ней по этому вопросу на разных языках. Я действительно не имел понятия, что перед церковным браком необходимо вступить в гражданский брак. Конечно, мне, как совершеннолетнему гражданину и «вменяемому лицу мужского пола», надо было бы это знать, но я просто ничего не знал, так же как до недавнего времени не знал, что белое вино подают холодным, а красное подогретым. Конечно, я знал, что есть гражданские учреждения, где совершают какие-то брачные церемонии и выдают свидетельства, но я думал, что это только для неверующих и для тех, кто хочет, так сказать, сделать государству небольшое одолжение. Я по-настоящему рассердился, узнав, что надо идти туда прежде, чем тебя обвенчают в церкви, а когда Мари еще начала говорить, что я должен дать письменное обязательство

воспитывать наших детей католиками, мы с ней поссорились. Мне все это показалось каким-то шантажом, и мне не понравилось, что и Мари тоже совершенно согласна с требованием давать письменные обязательства. Ведь она имела полное право и крестить детей, и воспитывать их, как она считает нужным.

В этот вечер ей нездоровилось, она была очень бледна, говорила со мной довольно резко, а когда я сказал:

– Ну ладно, я все сделаю, подпишу что угодно, – она рассердилась и сказала:

– Ты согласился только потому, что тебе лень, а вовсе не потому, что убедился в правоте высших моральных принципов.

И я сказал:

– Да.

Мне действительно лень спорить, а кроме того, я хочу быть с ней всю жизнь и даже согласен по всем правилам принять католичество, если это необходимо для того, чтобы она навсегда осталась со мной. Я даже заговорил высокопарно, сказал, что такие выражения, как «высшие моральные принципы», напоминают мне камеру пыток. Но она восприняла как обиду эту мою готовность перейти в католичество только ради того, чтобы она от меня не ушла. А я-то думал ей этим польстить, потому и зашел так далеко. Но она сказала, что дело сейчас не во мне и не в ней, а в «принципах». Это было вечером, в номере ганноверской гостиницы – одной из тех дорогих гостиниц, где всегда недоливают чашку, когда заказываешь кофе. В этих гостиницах все так изысканно, что полная чашка кофе считается вульгарной, и кельнеры знают правила хорошего тона куда лучше тех бонтонных господ, которые там останавливаются. В таких гостиницах я чувствую себя как в особенно дорогом и особенно скучном интернате, а в этот вечер я еще смертельно устал – три выступления подряд. Днем – перед какими-то акционерами сталелитейной компании, после обеда – перед выпускниками педагогической академии, а вечером – варьете, где аплодировали так вяло, что я подумал: видно, моей карьере приходит конец. А когда я заказал в этом дурацком отеле пиво в номер, старший кельнер таким ледяным голосом сказал: «Слушаюсь», будто я попросил у него стакан помоев, и мне подали пиво в серебряном бокале. Я устал, мне хотелось только выпить пива, немножко поиграть в «братец-не-сердись», принять ванну, почитать вечерние газеты и уснуть рядом с Мари: правая рука у нее на груди, и щека к щеке, чтобы я мог унести в сон запах ее волос. В ушах у меня еще звучали вялые аплодисменты. С их стороны было бы куда человечнее всем сразу опустить большой палец вниз. А это усталое, вялое презрение к моим номерам было безвкусным, как пиво в нелепом серебряном бокале. И сейчас я был просто не в состоянии вести философские разговоры.

– Об этом и идет речь, Ганс, – сказала она, понизив голос, и даже не заметила, что для нас слово «это» имело особое значение, видно, уже забыла.

Она ходила взад и вперед около изножья кровати и подкрепляла свои слова такими короткими точными взмахами сигареты, что клубочки дыма казались знаками препинания. За эти годы она приучилась курить; сейчас в своем бледно-зеленом пуловере она была очень хороша: белая кожа, потемневшие волосы, впервые я увидел жилки у нее на шее. Я сказал:

– Пожалей меня, дай мне сперва выспаться, завтра утром поговорим обо всем, и в особенности об этом.

Но она не обратила внимания на мои слова, обернулась, остановилась у кровати, и по ее губам я понял, что весь этот разговор вызван причинами, в которых она сама себе не признается. Она затянулась сигаретой, и я увидел у ее рта складочки, которых никогда раньше не замечал. Она посмотрела на меня, со вздохом покачала головой, повернулась и снова зашагала по комнате.

– Я не совсем понимаю, – устало сказал я. – Сначала мы ссоримся из-за моей подписи под этим шантажным документом, потом из-за гражданского брака. Теперь я на все согласен, а ты сердись все больше.

– Да, – сказала она, – слишком быстро ты соглашаешься, я чувствую, что ты просто боишься выяснять отношения. Чего тебе, собственно говоря, нужно?

– Тебя, – сказал я. По-моему, ничего нежнее женщине сказать нельзя. – Поди сюда, – сказал я, – ляг рядом, захвати пепельницу, и мы спокойно поговорим. – С ней я уже мог говорить «про все про это».

Она покачала головой, поставила мне пепельницу на кровать и, подойдя к окну, стала смотреть на улицу. Мне стало страшно.

– Что-то в твоих словах мне не нравится, в них есть что-то не твое.

– А чье же? – спросила она тихо, и я поддался внезапной мягкости ее голоса.

– От них пахнет Бонном, – сказал я, – этим вашим кружком, с Зоммервильдом, с Цюпфнером и как их там всех зовут.

– Может быть, тебе просто кажется, будто ты сейчас слышишь то, что ты видел своими глазами, – сказала она, не оборачиваясь.

– Не понимаю, – сказал я устало, – о чем это ты?

– Ах, – сказала она, – как будто ты не знаешь, что тут идет католическая конференция.

– Да, я видел плакаты, – сказал я.

– А тебе не пришло в голову, что Гериберт и прелат Зоммервильд могут оказаться здесь?

Я даже не знал, что Цюпфнера зовут Гериберт. Но когда она назвала это имя, я понял, что речь может идти только о нем. Я вспомнил, как она с ним держалась за ручки. Да, я обратил внимание, что в Ганновере появилось куда больше католических патеров и монахинь, чем полагалось в таком городе, и я подумал, что Мари могла кого-нибудь встретить, но если и так, то ведь мы не раз в мои свободные дни уезжали в Бонн, и там она могла вволю общаться со своим «кружком».

– Тут, в отеле? – устало спросил я.

– Да, – сказала она.

– Почему же ты меня не свела с ними?

– Тебя все время не было, целую неделю ты разъезжал, – сказала она, – то в Брауншвайг, то в Хильдесхайм, то в Целле.

– Но теперь я свободен, – сказал я, – позвони им, можно еще выпить внизу, в баре.

– Они уехали, – сказала она, – сегодня после обеда.

– Очень рад, – сказал я, – что ты так основательно надышалась католической атмосферой, хотя бы и импортированной. – Выражение было не мое, а Мари. Она иногда говорила, что ей хочется снова «подышать католической атмосферой».

– Почему ты сердишься? – сказала она. Она все еще стояла лицом к окну и опять курила, мне и это в ней показалось чужим: это затяжное курение было так же чуждо в ней, как и тон ее разговора со мной. В эту минуту она могла бы быть посторонней, миловидной, не очень умной женщиной, ищущей предлога, чтобы уйти.

– Я не сержусь, – сказал я, – и ты это знаешь. Ведь знаешь, скажи?

Она ничего не ответила, только кивнула, и мне было видно, что она сдерживает слезы. Зачем? Лучше бы она расплакалась и плакала горько, долго. Тогда я мог бы встать, обнять ее, поцеловать. Но я не встал, никакой охоты не было, а по привычке, из чувства долга мне ничего делать не хотелось. Я остался лежать, я думал о Цюпфнере, о Зоммервильде, о том, что она тут вела с ними беседы три дня, а мне ни слова не сказала. Наверняка они говорили про меня. Цюпфнер состоит в правлении Общества друзей католицизма. Я слишком долго медлил, наверно, полминуты, минуту, а может быть, минуты две, сам не знаю. Но когда я встал и подошел к ней, она покачала головой, сняла мою руку со своего плеча и снова заговорила о «метафизическом страхе» и о высших принципах, и мне показалось, что я на ней женат лет двадцать. Голос у нее был назидательный, но я слишком устал, чтобы воспринимать ее аргументы, и пропустил их мимо ушей. Потом перебил ее и рассказал, как я провалился в варьете

– впервые за три года. Мы стояли рядом у окна, смотрели на улицу, где вереницей шли такси, увозя членов католической конференции на вокзал – монахинь, патеров и католиков-мирян серьезного вида. В одной группе я увидел Шницлера, он открывал дверцу такси очень представительной пожилой монахине. Когда он жил у нас, он был евангелического вероисповедания. Значит, он либо обратился в католицизм, либо приехал гостем от евангелистов. От него можно было ждать чего угодно. Внизу тащили чемоданы, в руки лакеев совали чаевые. У меня от усталости и растерянности все кружилось перед глазами: такси и монахини, фонари и чемоданы, а в ушах звенели эти мерзкие вялые аплодисменты. Мари давно окончила свой монолог о высших принципах и курить тоже перестала, а когда я отошел от окна, она пошла за мной, схватила за плечи и поцеловала в глаза.

– Ты такой милый, – сказала она, – такой милый и такой усталый. – Но когда я попытался ее обнять, она тихо сказала: – Нет, нет, пожалуйста, не надо!

И я сделал ошибку: сразу отпустил ее. Не раздеваясь, я бросился на кровать, тут же заснул, а когда утром проснулся, то даже не удивился, что Мари ушла. Записка лежала на столе: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти». Ей уже было почти двадцать пять лет, могла бы написать и получше. Я не обиделся, просто показалось, что этого маловато. Я сейчас же сел и написал ей длинное письмо, после завтрака написал еще раз, я писал ей каждый день и посылал письма на адрес Фредебойля, в Бонн, но ответа ни разу не получил.

IX

У Фредбойлей тоже долго не подходили к телефону, длинные гудки действовали мне на нервы. Я представил себе, что госпожа Фредбойль уже спит, потом ее разбудил звонок, потом она снова уснула, ее снова разбудил звонок, и я мучительно переживал все эти терзания. Я чуть было не повесил трубку, но решил, что дело у меня неотложное, и продолжал звонить. Самого Фредбойля я разбудил бы среди ночи без всяких угрызений совести, этот малый не заслужил спокойного сна. Он болезненно честолюбив и, наверно, не снимает руки с телефона: сам звонит или ждет звонка от всяких министерских чиновников, редакторов, комитетов, союзов, партийных организаций. Но его жена мне нравится. Она еще была школьницей, когда он впервые привел ее в кружок, и мне стало тоскливо, когда я увидел, как она, раскрыв красивые глаза, слушала все эти теологически-социологические рассуждения. Видно было, что она охотнее пошла бы на танцы или в кино. Зоммервильд, у которого собирался кружок, несколько раз меня спрашивал: «Вам, наверно, слишком жарко, Шнир?» – а я отвечал: «Нет, господин прелат», хотя у меня пот катился со лба по щекам. В конце концов я вышел на балкон Зоммервильда – эту трепотню невозможно было вынести. И вся болтология началась из-за этой барышни, потому что она вдруг – притом без всякой связи с темой беседы, где речь, собственно говоря, шла о величии и ограниченности провинциализма, – сказала, что у Бенна есть «очень миленькие вещицы». И тут Фредбойль, чьей невестой она считалась, покраснел как рак, потому что Кинкель бросил на него один из тех красноречивых взглядов, которыми он так славился: «Как, мол, ты это допустил, не навел порядок?» И он сам принялся наводить порядок, пилил и строгал бедную девушку изо всех сил, двинув на нее всю историю западной культуры в качестве фуганка. От славной девочки почти ничего не осталось, стружки так и летели, и я злился на этого труса Фредбойля, который не вмешивался, потому что они с Кинкелем «исповедуют» одно идеологическое направление – не знаю, «левое» или «правое», во всяком случае, у них направление одно, и Кинкель счел себя обязанным обработать невесту Фредбойля. Зоммервильд тоже не шелохнулся, хотя он придерживается противоположного направления, нежели Кинкель и Фредбойль, не знаю, какого именно: если Кинкель и Фредбойль левые, значит, Зоммервильд правый, и наоборот. Мари тоже немного побледнела, но ей импонирует образованность, я никак не мог отучить ее от этого. Образованность Кинкеля импонировала и будущей госпоже Фредбойль – она с почти сладострастными вздохами впивала его многословные поучения. Кинкель бурей пронесся от отцов церкви до Бертольта Брехта, и когда я, передохнув, пришел с балкона, они уже все легли костью и пили крющон, и все из-за того, что бедная девочка сказала, будто Бенн писал «милые вещички».

Теперь у нее уже двое детей от Фредбойля, хотя ей только двадцать два года, и, пока телефон звонил в ее квартире, я себе представил, как она возится с детскими бутылочками, с тальком, пеленками и мазями, такая беспомощная, растерянная. Я видел горы грязного детского белья и немытую жирную посуду на кухне. Однажды, устав от умных разговоров, я помог ей подрумянивать хлеб, делать бутерброды и варить кофе, могу только сказать, что такая работа для меня куда приятнее, чем некоторые беседы и разговоры.

Очень робкий голос произнес:

– Да, что угодно?

И по этому голосу я понял, что беспорядок на кухне, в ванной и в спальне еще хуже, чем обычно. Запаха я никакого не почувствовал, только показалось, что она держит в руке сигарету.

– Это Шнир, – сказал я, ожидая услышать радостное восклицание (она всегда радовалась, когда я им звонил): «Ах, вы в Бонне, как мило», или что-то в этом роде, но сейчас она растерянно молчала и потом вяло сказала:

– Да? Очень приятно.

Я не знал, что сказать. Раньше она всегда говорила: «Когда же вы придете, покажете нам свои номера?» А тут – ни слова. Мне было мучительно – не за себя, за нее; за себя мне было просто неловко, а за нее – мучительно.

– А письма, – с трудом выговорил я наконец, – где письма, которые я писал Мари?

– Лежат тут, – сказала она, – возвращены нераспечатанными.

– А по какому адресу вы их пересылали?

– Не знаю, – сказала она, – пересылал муж.

– Но он ведь знал, по какому адресу посылать эти письма?

– Вы меня допрашиваете?

– О нет, – сказал я кротко, – нет, нет, я только осмелился подумать, что имею право узнать, что случилось с моими письмами.

– Которые вы, не спросясь, посылали на наш адрес.

– Милая госпожа Фредебойль, – сказал я, – пожалуйста, отнеситесь ко мне по-человечески.

Она засмеялась тихо, но так, что мне было слышно, и ничего не сказала.

– Я хочу сказать, что есть область, в которой люди, хотя бы из идейных соображений, становятся человечнее.

– Значит, по-вашему, я до сих пор вела себя бесчеловечно?

– Да, – сказал я.

Она опять засмеялась, очень робко, но все же слышно.

– Меня ужасно огорчает вся эта история, – сказала она наконец, – и больше я ничего сказать не могу. Вы всех нас страшно разочаровали.

– Как клоун? – спросил я.

– И это тоже, – сказала она, – но не только.

– Вашего мужа, наверно, нет дома?

– Нет, – сказала она, – он придет только через два дня. Он ведет предвыборную кампанию в Айфеле.

– Что? – крикнул я. Это было что-то новое. – Надеюсь, хоть не за ХДС?

– А почему бы и нет? – сказала она таким тоном, что я понял: ей хочется повесить трубку.

– Ну что ж, – сказал я, – не слишком большое будет требование, если я попрошу вас переслать мои письма в Бонн?

– Куда?

– В Бонн, сюда, по моему здешнему адресу.

– Как, вы в Бонне? – спросила она.

И мне показалось, что она чуть не сказала: «Ох, Боже мой!»

– До свидания, – сказал я, – спасибо за столь гуманное отношение.

Мне было жаль, что я так на нее рассердился, но больше я не мог. Я вышел на кухню, взял коньяк из холодильника, отпил большой глоток. Ничего не помогло, я глотнул еще раз – все равно не помогло. Меньше всего я ожидал, что госпожа Фредебойль так со мной разделается. Я был готов услышать длинную проповедь о святости брака, с упреками за мое отношение к Мари: у нее вся эта догматика выходила вполне мило и даже логично, но раньше, когда я бывал в Бонне и звонил ей, она только шутливо приглашала меня помочь ей на кухне и в детской. Должно быть, я в ней ошибся, а может быть, она опять забеременела и была в плохом настроении. У меня не хватило духу позвонить ей еще раз и попробовать выпытать, что с ней такое. Она всегда так мило относилась ко мне. Можно было объяснить ее поведение только тем, что Фредебойль, наверно, дал ей «строжайшие указания» отшить меня. Я часто замечал, что жены доходят в своей преданности мужьям до полного идиотизма. Госпожа Фредебойль, конечно, была еще слишком молода, чтобы понять, как больно меня задела ее неестественная

холодность, и, уж безусловно, нельзя было от нее требовать, чтобы она поняла, какой оппортунист и болтун ее Фредебойль – только и думает любой ценой сделать карьеру и, наверно, отрекся бы от родной бабки, если бы она стала ему поперек дороги. Наверно, он ей сказал: «Шнира вычеркнуть». И она меня просто вычеркнула. Она подчинилась ему во всем, и пока он считал, что я ему еще пригожусь, ей разрешалось хорошо ко мне относиться, что было вполне в ее характере, а теперь она должна была идти против себя самой и относиться ко мне отвратительно.

А может быть, я их зря обвиняю, и они оба просто поступали, как им велела совесть. Если Мари действительно вышла за Цюпфнера, значит, им, наверно, грешно служить посредниками, помогать мне связаться с ней, а что Цюпфнер именно тот человек, который играет роль в католическом центре и может быть полезен Фредебойлю, их никак не смущало. Они, безусловно, должны были поступать правильно и честно, даже в том случае, если это приносило пользу им самим. Но Фредебойль огорчал меня меньше, чем его жена. На его счет я никогда не обольщался, и даже то, что он сейчас агитировал за ХДС, меня ничуть не удивило.

Бутылку с коньяком я окончательно убрал в холодильник.

Лучше всего было бы сейчас позвонить всем католикам подряд, отделаться сразу. Я как-то стряхнул сон и уже почти не хромал, когда шел из кухни в столовую.

Даже шкаф, даже двери кладовушки в передней были ржаво-красного цвета.

От телефонного звонка Кинкелю я ничего не ждал, и все же набрал его номер. Он всегда объявлял себя горячим поклонником моего искусства, а тот, кто знаком с нашей профессией, хорошо знает, что даже при похвале какого-нибудь рабочего сцены мы чуть не лопаемся от гордости. Мне хотелось нарушить заслуженный вечерний покой Кинкеля с задней мыслью, что он выдаст мне, где Мари. Он был главой их круга, изучал теологию, но потом бросил этот факультет ради красивой женщины, стал юристом, имел семь человек детей и считался «одним из самых способных специалистов в области социальной политики». Может, так оно и было, не берусь судить. Перед тем как меня с ним познакомить, Мари дала мне прочесть его брошюру «Путь к новому порядку», и после этой книжки, которая мне даже понравилась, я его представлял себе высоким ласковым светловолосым человеком, а когда впервые увидел этого плотного, низенького мужчину с густыми черными волосами, типичного «здоровяка», то никак не мог поверить, что это он. Может быть, я и относился к нему так несправедливо потому, что он не соответствовал моему представлению о нем. А старик Деркум, как только Мари начинала восхищаться Кинкелем, говорил, что существуют такие «кинкель-коктейли», смеси из разных ингредиентов – Маркса с Гвардини или Блуа с Толстым.

Когда нас впервые пригласили к нему в дом, мы сразу попали в неловкое положение. Пришли мы слишком рано, и в задних комнатах дети ссорились, кому убирать со стола, шипя друг на дружку, а кто-то шипом пытался их унять. Кинкель вышел с улыбкой, что-то дожевывая и судорожно стараясь скрыть раздражение из-за нашего раннего прихода. За ним вышел Зоммервильд – он ничего не жевал, только усмехнулся, потирая руки. В задних комнатах злобно завизжали дети Кинкеля, и это так мучительно не соответствовало усмешке Зоммервильда и улыбке Кинкеля, потом мы услышали звонкие пощечины, кто-то грубо захлопнул двери, мы почувствовали, что за ними поднялся визг пуще прежнего. Я сидел рядом с Мари и от волнения, сбитый с толку семейными неурядицами в тех комнатах, курил одну сигарету за другой, пока Зоммервильд беседовал с нами и на губах у него играла все та же «всепрощающая и великодушная» улыбка. Тогда мы впервые вернулись в Бонн после нашего бегства. Мари побледнела не только от волнения, но и от почтительности и гордости, и я ее очень хорошо понимал. Ей было так важно «примириться с церковью», и Зоммервильд был с ней так мил, а на Зоммервильда и Кинкеля она взирала с особым уважением. Она представила меня Зоммервильду, и когда мы все сели, Зоммервильд спросил меня:

– Вы не родня тем Шнирам – из угольной промышленности?

Я ужасно разозлился. Он отлично знал, кому я родня. В Бонне каждому ребенку было известно, что Мари Деркум сбежала с одним из «угольных» Шниров, «да еще перед самыми экзаменами, а была такая набожная девица!». Я ничего не ответил Зоммервильду, он рассмеялся и сказал:

– С вашим уважаемым дедом я иногда езжу на охоту, а с вашим батюшкой мы изредка играем партию-другую в боннском Коммерческом клубе.

Это меня еще больше разозлило. Не такой он дурак, чтобы думать, будто эта ерунда про охоту и клуб произведет на меня впечатление, и не похоже было, чтобы он заговорил об этом от смущения. Тут я наконец открыл рот и сказал:

– На охоту? А я всегда думал, что католическим священникам участвовать в охоте воспрещено.

Наступило тягостное молчание. Мари покраснела. Кинкель суетливо заметался по комнате, ища штопор, его жена, которая только что вошла, высыпала соленый миндаль на ту же тарелку, где лежали оливки. Даже Зоммервильд покраснел, а к нему это уж совсем не шло, физиономия у него была и так достаточно красная. Он сказал негромко и все-таки немного обиженно:

– Для протестанта вы неплохо информированы.

А я сказал:

– Я не протестант, но интересуюсь некоторыми вещами, потому что ими интересуется Мари.

И пока Кинкель наливал нам всем вино, Зоммервильд сказал:

– Разумеется, есть правила, господин Шнир, но есть и исключения. Я происхожу из рода, где от отца к деду передавалось звание главного лесничего.

Если бы он сказал просто «лесничего», я бы его понял, но то, что он сказал «главного лесничего», опять меня разозлило, однако я ничего не сказал, только скорчил кислую физиономию. И тут они стали переговариваться глазами. Госпожа Кинкель взглянула на Зоммервильда, словно говоря: «Оставьте его, он еще так молод». И Зоммервильд посмотрел на нее, как будто сказал: «Да, молод и довольно невоспитан». А Кинкель, наливая мне вино после всех, сказал мне глазами: «О Боже, до чего вы еще молоды!» Вслух же он сказал Мари:

– Как поживает ваш отец? Он не изменился?

Бедняжка Мари сидела такая бледная и растерянная, что только и могла кивнуть головой. Зоммервильд сказал:

– Что случилось бы с нашим добрым, старым и столь богобоязненным городом без господина Деркума?

Меня это опять разозлило, потому что старик Деркум мне рассказывал, что Зоммервильд пытался отговорить ребят из католической школы покупать у него, как всегда, карамельки и карандаши. Я сказал:

– Без господина Деркума наш добрый, старый и столь богобоязненный город еще глубже увяз бы в дерьме, он хоть по крайней мере не ханжа.

Кинкель удивленно поглядел на меня, поднял свой бокал и сказал:

– Спасибо, господин Шнир, вы мне подсказали прекрасный тост: выпьем за здоровье Мартина Деркума.

Я сказал:

– Да, за его здоровье – с удовольствием!

А госпожа Кинкель опять сказала мужу глазами: «Он, оказывается, не только молодой и невоспитанный, но еще и нахал!» Я так и не понял, почему Кинкель, упоминая о «первом нашем знакомстве», называл тот вечер «самым приятным». Вскоре пришли еще Фредбойль со своей невестой, Моника Сильвс и некий фон Северн, про которого до его прихода было сказано, что хотя он и «недавно принят в лоно церкви», однако близок к социал-демократам, что,

очевидно, считалось потрясающей сенсацией. В этот вечер я впервые познакомился с Фредбойлем, и с ним было так же, как с остальными: несмотря ни на что, я им был симпатичен, а они мне, несмотря ни на что, несимпатичны, правда, кроме невесты Фредбойля и Моники Сильвс; фон Северн был мне безразличен. Он был прескучный и как будто решил, что ему можно окончательно успокоиться после того, как он обратил на себя всеобщее внимание: перешел в католичество и вместе с тем остался социал-демократом. Он улыбался, был со всеми любезен, и все же его чуть выпуклые глаза словно все время говорили: «Смотрите на меня, да, это я и есть!» Но мне он показался не таким уж противным. Фредбойль был со мной исключительно радушен, почти сорок минут говорил о Беккете и Ионеско, без умолку трещал о чем-то, явно где-то вычитанном, и на его гладком красивом лице с удивительно крупным ртом засияла благожелательная улыбка, когда я по глупости сознался, что читал Беккета. Все, что он говорил, казалось мне знакомым, будто я уже давно об этом читал. Кинкель восхищенно улыбался ему, а Зоммервильд обводил всех глазами, словно говоря: «Видите, мы, католики, тоже идем в ногу с веком». Все это происходило до молитвы. Жена Кинкеля первая сказала:

– По-моему, уже можно читать молитву, Одило, ведь Гериберт сегодня, наверно, не придет.

И все сразу посмотрели на Мари, потом внезапно отвели глаза, но я не сообразил, почему вдруг опять наступило тягостное молчание. Только в Ганновере, в гостинице, я понял, что Герибертом зовут Цюпфнера. Но он все-таки пришел после молитвы, когда уже началась беседа на тему дня, и мне понравилось, как Мари сразу, лишь только он вошел, подошла к нему, посмотрела на него и беспомощно пожалала плечами, а Цюпфнер поздоровался с остальными и сел рядом со мной. Тут Зоммервильд рассказал историю об одном писателе-католике, который долго жил с разведенной женщиной, а когда он на ней женился, одно высокопоставленное духовное лицо сказала ему: «Послушайте, мой милый Безевиц, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?» Смеялись над этим анекдотом довольно несдержанно, особенно госпожа Кинкель хохотала до неприличия. Не смеялся только Цюпфнер, и мне это в нем понравилось. И Мари не смеялась. Наверно, Зоммервильд рассказал этот анекдот, чтобы показать мне, как великодушна, человечна, как остроумна и многообразна католическая церковь. О том, что мы с Мари живем тоже, так сказать, во грехе, никто не подумал. Тогда я рассказал историю об одном рабочем, нашем соседе, его звали Фрелинген, он тоже жил с разведенной и даже кормил троих ее детей. К этому Фрелингену однажды пришел пастор и с самым серьезным видом, даже с угрозами, потребовал, чтобы он «прекратил это непристойное сожительство», и так как Фрелинген был человек набожный, он выставил эту красивую женщину и троих ее детей. Я рассказал, как этой женщине пришлось пойти по рукам, чтобы прокормить ребятшек, и как Фрелинген совсем спился, потому что любил ее по-настоящему. Снова наступило тягостное молчание, как всегда, когда я что-нибудь говорил, но Зоммервильд рассмеялся и сказал:

– Послушайте, господин Шнир, не будете же вы сравнивать оба эти случая?

– Ну почему же? – сказал я.

Он рассердился.

– Вы так говорите только потому, что не представляете себе, кто такой Безевиц, – сказал он сердито, – это удивительно тонкий писатель, заслуживающий притом названия христианина.

Я тоже рассердился и сказал:

– А знаете ли вы, какой удивительно тонкий человек Фрелинген и какой он христианин, этот рабочий?

Он посмотрел на меня, покачал головой и безнадежно развел руками. Наступила пауза, слышно было только, как покашливает Моника Сильвс, но в присутствии Фредбойля хозяину нечего бояться, что беседа оборвется. Он сразу вклинился в наступившую тишину, перевел разговор на тему дня и часа полтора проговорил об относительности понятия «бедность», и

только после этого Кинкель наконец получил возможность рассказать тот самый анекдот о человеке, который считал, что, когда он получал больше пятисот и меньше трех тысяч марок в месяц, он жил в отчаянной нищете. Тут Цюпфнер и попросил у меня сигарету, чтобы дымом скрыть краску стыда.

И мне и Мари было одинаково плохо, когда мы возвращались поездом в Кёльн. Мы еле наскребли денег на поездку в Бонн: Мари так хотелось принять это приглашение. Нам и физически было тошно: мы слишком мало съели, а выпили больше, чем привыкли. Дорога показалась бесконечной, а выйдя на Западном вокзале в Кёльне, мы вынуждены были идти домой пешком: денег на трамвай уже не осталось.

У Кинкелей сразу подошли к телефону.

– Альфред Кинкель слушает, – сказал самоуверенный мальчишеский голос.

– Говорит Шнир, – сказал я. – Можно поговорить с вашим отцом?

– Шнир-богослов или Шнир-клоун?

– Клоун, – сказал я.

– А-а, – сказал он, – надеюсь, вы не слишком близко приняли это к сердцу?

– К сердцу? – сказал я устало. – А чего я не должен принимать к сердцу?

– Как? – сказал он. – Разве вы не читали газету?

– Какую? – спросил я.

– «Голос Бонна», – ответил он.

– Разнос? – спросил я.

– Как сказать, – ответил он, – скорее некролог. Может быть, принести, прочесть вам вслух?

– Нет, спасибо, – сказал я. В голосе у мальчишки звучал явный садизм.

– Но вы должны прочитать, – сказал он, – это вам будет наукой.

О Господи, оказывается, его и к педагогике тянет.

– А кто писал? – сказал я.

– Некий Костерт, он подписывается: «Наш корреспондент по Рурской области». Блестяще написано, хотя довольно подло.

– Ну конечно, – сказал я, – ведь он христианин.

– А вы разве нет?

– Нет, – сказал я. – Вашего отца дома нет, что ли?

– Он не велел себя беспокоить, но для вас я охотно побеспокою его.

Впервые в жизни чей-то садизм пошел мне на пользу.

– Спасибо, – сказал я.

Я услышал, как он положил трубку на стол, вышел из комнаты – и тут я опять услышал где-то вдали злое шипение. Казалось, будто целое семейство змей перессорилось – два змея мужского пола и одна женщина-змея. Мне всегда неловко, когда я становлюсь невольным свидетелем того, что вовсе не предназначено для моего слуха и зрения, а таинственная способность ощущать запахи по телефону для меня не радость, а наказание. В кинкелевском жилье так пахло мясным бульоном, словно они сварили целого быка. Шипение даже издали казалось смертельно опасным, как будто сын сейчас задушит отца или мать – сына. Я вспомнил Лаокона, но тот факт, что этот шип и скрежет (я слышал даже шум драки, восклицания, выкрики вроде: «Ах ты, скотина! Грязная свинья!») раздавался из квартиры того, кого величали «серым кардиналом» немецкого католицизма, никак не поднимал моего настроения. Я думал и об этом жалком Костерте из Бохума, который, наверно, еще вчера с вечера повис на телефоне, чтобы продиктовать свой фельетон, и все же сегодня утром скребся в мою дверь, как пришибленный пес, и разыгрывал роль моего брата во Христе.

Очевидно, Кинкель буквально отбивался руками и ногами, чтобы не подходить к телефону, а его жена – я постепенно стал различать все шумы и движения вдали – еще больше сопротивлялась этому, сын же отказывался сообщить мне, что он ошибся и отца дома нет. Вдруг стало тихо, как тихо бывает, когда кто-то истекает кровью: наступила кровотокающая тишина. Потом я услышал шарканье ног, услышал, как берут трубку со стола, и ждал, что трубку сейчас повесят. Я точно знал, где у Кинкеля стоит телефон. Как раз под той из трех мадонн в стиле барокко, которую Кинкель считает наименее ценной. Мне даже захотелось, чтобы он положил трубку. Я жалел его: должно быть, для него было мучением сейчас говорить со мной, да я ничего хорошего от этого разговора и не ждал – ни денег, ни добрых советов. Если бы он заговорил задыхающимся голосом, жалость во мне взяла бы верх, но он заговорил так же громко и бодро, как всегда. Кто-то сравнивал его голос с целым полком трубачей.

– Алло, Шнир! – загремел он. – Отлично, что вы позвонили!

– Доктор, – сказал я, – я попал в переplet.

Единственной шпилькой в моих словах было обращение «доктор» – он, как и мой отец, был новоиспеченным доктором гонорис кауза.

– Шнир, – сказал он, – неужто мы с вами в таких отношениях, что вы должны называть меня «господин доктор»?

– А я понятия не имею, в каких мы с вами отношениях, – сказал я.

Он загоготал особенно громовым голосом – бодрым, католическим, сердечным, с игривостью «а-ля барокко».

– Моя симпатия к вам неизменна. – Этому было трудно поверить. Но должно быть, в его глазах я пал так низко, что толкать меня в пропасть уже не стоило. – Вы переживаете кризис, – сказал он, – вот и все. Вы еще молоды, возьмите себя в руки, и все наладится.

«Взять себя в руки» – как это напоминало мне «П.П.9» нашей Анны.

– О чем вы говорите? – коротким голосом спросил я.

– О чем же я еще могу говорить? О вашем искусстве, вашей карьере.

– Нет, я не о том, – сказал я. – Об искусстве, как вы знаете, я принципиально не разговариваю, а о карьере и подавно. Я вот о чем хотел, мне нужно... я ищу Мари.

Он издал какой-то неопределенный звук, что-то среднее между хрюканьем и отрыжкой. Из глубины комнаты до меня донеслось утихающее шипение, я услышал, как Кинкель положил трубку на стол, потом снова поднял, голос у него стал тише, глуше, он явно жевал сигару.

– Шнир, – сказал он, – пусть прошлое останется прошлым. Ваше настоящее – в вашем искусстве.

– Прошлым? – переспросил я. – А вы себе представьте, что ваша жена ушла к другому!

Он промолчал, словно говоря: «Вот хорошо бы!» – потом сказал, жуя сигару:

– Она вам не жена, и у вас нет семерых детей.

– Так! – сказал я. – Значит, она не была моей женой?

– Ах, – сказал он, – этот романтический анархизм! Будьте же мужчиной.

– О черт, – сказал я, – именно потому, что я принадлежу к этому полу, мне так тяжело, а семь детей у нас еще могут родиться. Мари всего двадцать пять лет.

– Настоящим мужчиной, – сказал он, – я считаю человека, который умеет примиряться.

– Звучит очень по-христиански, – сказал я.

– Бог мой, уж не вам ли учить меня, что звучит по-христиански?

– Мне, – сказал я. – Насколько мне известно, по католическому вероучению брак является таинством, в котором двое приобщаются благодати.

– Конечно, – сказал он.

– Хорошо, а если эти двое дважды и трижды обвенчаны и гражданским и церковным браком, но благодати при этом и в помине нет, значит, брак недействителен?

– Гм-м, – промычал он.

– Слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций. От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе.

– Ну, знаете ли! – сказал он, но сигару все же вынул. – И вообще поймите, все, что вы об этом думаете, ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить – поступает совершенно правильно.

– Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она? Вы ее от меня прячете?

– Не валяйте дурака, Шнир, – сказал он. – Мы живем не в Средневековье.

– Очень жаль, что не в Средневековье, – сказал я, – тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера. Ничего, она еще вернется.

– На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия.

– С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души, но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу, и выходит так, что мне, человеку, неспособному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике – то, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат, а ваш прелат Зоммервильд тут играет роль сводника.

Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда, не слишком громогласно:

– Звучит забавно, если иметь в виду, что Гериберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прелат Зоммервильд, так сказать, по духовной.

– А вы – совесть этого самого католицизма, – сказал я сердито, – и отлично знаете, что я прав.

Он пыхтел в трубку там, на Венусберге, стоя под наименее ценной из трех своих мадонн.

– Вы потрясающе молоды, – сказал он, – можно только позавидовать.

– Бросьте, доктор, – сказал я, – не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прелата просто пришибу. Да, пришибу, – повторил я, – мне терять нечего.

Он помолчал и опять сунул сигару в рот.

– Знаю, – сказал я, – знаю, что ваша совесть сейчас лихорадочно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку: он вас не любит, и для вас он слишком правый, а вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом, где вы – впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо – считаетесь леваком.

– Бросьте глупить, Шнир, что это с вами?

– Католики мне действуют на нервы, – сказал я, – они нечестно играют.

– А протестанты? – спросил он и засмеялся.

– Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.

– А как атеисты? – Он все еще смеялся.

– Одна скука, только и разговоров что о Боге.

– Но вы-то сами кто?

– Я – клоун, – сказал я, – а в настоящую минуту я даже выше своей репутации. И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо, – Мари, но именно ее вы у меня отняли.

– Ерунда, Шнир, – сказал он, – вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в двадцатом веке.

– Вот именно, – сказал я. – В тринадцатом веке я был бы любимым шутком при дворе, и даже кардиналам не было бы дела, обвенчан я с ней или нет. А теперь каждый католик-мирянин теребит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших мадонн в тринадцатом веке отлучили бы

от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением.

– Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности? – сказал он. – Этого я от вас не ожидал.

– Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела, а стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги, найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши мадонны.

Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез.

– Дайте отбой, Кинкель, – сказал я, – кладите трубку, не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи.

Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я.

Х

Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что, если бы я у него попросил денег, он бы мне их дал. Но мне была слишком противна и его болтовня про метафизику с сигарой во рту, и внезапная обида, когда я заговорил о его мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фредебойль тоже. К черту! А самому Фредебойлю я, того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним «духовным оружием». Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Спор из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в ганноверском отделе. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал поиграть, как бывало, в «братец-не-сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все началось с того, что она только из одолжения мне, чтобы меня успокоить или утешить, соглашалась играть в «братец-не-сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины – те, на которые пускают ребят до шести лет.

По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны, тут всегда мешают зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как «творческая личность», должен проявлять «горячий интерес» к восприятию всяческой культуры – и чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услышал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси, да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет. Этого Мари никогда не могла понять – ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке: «Пусть играют в футбол, чтобы не думали о девочках», а я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем, но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины – про супружескую неверность, про разводы. В этих картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то «счастье». «Ах, дай мне счастье, любимая!» или «Неужели ты помешаешь нашему счастью?». А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы дольше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь – про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин: они не шлюхи и не верные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмя кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле: жалости они никогда не знают. Смотришь, как в каком-нибудь разухабистом кабачке на Диком Западе танцуют этикие блондинки канкан и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотники, которые года два гонялись за разным зверьем, глазуют на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы, но пусть эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволокнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату, тут сразу либо двери у них под носом захлопываются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, что все должно внушать представление о добродетели. Но это безжалостность – и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что

эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять – для них это все равно как для нас, мальчишек, футбол в интернате, но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверно, там жалостливую женщину сожгли бы, как ведьму, – я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной, из жалости к человеческому естеству.

Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки, а потом и об этом пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего и башмаков жене купить не на что, этим киношникам неинтересен, потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. «Неукротимые порывы творческой души» – даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых, ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе, а не понимают они потому, что они-то – и для них это вполне естественно – занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди «при искусстве», они ни о чем, кроме искусства, не думают, но им для этого свободное время не нужно, потому что они не работают. И не обобратятся недоразумений, если таких людей «при искусстве» возводить в художники. Эти самые люди «при искусстве» тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха. И они бьют прямо по больному месту: в те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про Ван Гога, про Кафку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты: только мне удастся выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в «братец-не-сердись», вообще про какую-нибудь чепуху, даже, может быть, пошловатую или сентиментальную, как тут же какой-нибудь Фредебойль или Зоммервилльд начинают трепаться про искусство. Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем вроде Карла Эмондса, Фредебойль или Зоммервилльд заводят разговор про Клоделя или Ионеско. С Мари тоже это случается, раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это задело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди, от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего, знают, что значит отдых, безразлично – пьет ли человек пиво или охотится на медведей на Аляске, коллекционирует ли он марки или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно: кто *коллекционирует* произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету: слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты: можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск для меня чистая гибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое, мы уезжали к морю, на курорты, в горы, и я уже на второй день заболел, покрывался сыпью с головы до ног, и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболел я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным образом люди «при искусстве», и я в первый же вечер подрался с одним идиотом – он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Меня не только здорово отколотили (эти прихвостни

искусства ухитряются неплохо жить на счет всяких искусствообразных профессий, но сами, в сущности, не работают, и сил у них хоть отбавляй), но к тому же у меня началась желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел.

Что меня беспокоит больше всего – это мое неумение как-то себя ограничивать, или, как сказал бы мой импресарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешаны пантомима, артистизм, буффонада – я мог бы быть хорошим Пьеро, но я и неплохой клоун, – да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверно, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как «Католическая и протестантская проповедь», «Заседание совета акционеров», «Уличное движение» и всякие другие, но стоит мне проделать номер раз десять-двадцать, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я с огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет тридцать показывают одни и те же номера, – такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки, но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре, не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только проделаю два-три кульбита, похожу на руках, постою на голове да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате – я его всюду таскаю с собой, – вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима – «Речь министра» – вышла очень неплохо, но мне не хотелось впадать в карикатуру, а в чем-то другом я недотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах «Танцующая пара», «Уход в школу и возвращение» по крайней мере чувствовалось актерское мастерство. Но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару попытками уйти от себя. Лучше всего мне удастся изображение всяких будничных несуразниц: я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин – с какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы пик. Стоит только переменить работу или местожительство – и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках; стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец-не-сердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму – у меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удастся при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного движения. Моя цель – как можно меньше реквизита, лучше вообще ничего. Для номера «Уход в школу и возвращение» мне даже ранца не надо, я работаю рукой, и этого достаточно, я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь за свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удастся: в жизни ребенка все обыденное, банальное разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает: только когда в его жизнь входят «высшие моральные принципы», появляется отдых, свободное время. Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения: как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку – в ящик стола, как он запирает этот ящик или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет

руки, приводит в порядок перед зеркалом волосы, мажет губы, берет сумочку и уходит домой – все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком, оттого что для меня этот праздничный вечер, этот отдых – только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари: а бывает ли отдых у животных, например, у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди. Она сказала, что думать, будто животные тоже работают и у них тоже бывают праздники, – это кощунство. Конечно, сон – это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей, но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники, а недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает, по-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предначертании и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли Бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий Завет и читала мне про Бога из книги Бытия: «И почил в день седьмой от всех дел Своих». А я возражал цитатами из Нового Завета, я ей доказывал, что, может быть, в Ветхом Завете Бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал.

Сплю я, как животное, почти всегда без снов, иногда просплю минут пять, а кажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала Генриетта, когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты в камин, – Ничто. Я ее как-то спросил, о чем она думает, когда на нее «находит». И она спросила:

– Неужели ты не знаешь?

– Нет, – сказал я.

И она тихо проговорила:

– Ни о чем, я думаю ни о чем.

Я сказал, что нельзя думать ни о чем, а она сказала:

– Нет, можно, я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная, и мне хочется все с себя сбросить – башмаки, платье, остаться без всякого балласта.

Она еще сказала, что это изумительное состояние и она всегда ждет, когда оно наступит, но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее «находило» в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей и как она сказала: «Да, да, именно истерия, совершенно правильно, и накажите ее как следует».

Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты, во время игры в «братец-не-сердись», когда игра затягивается часа на три-четыре: ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, щелканья, когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда на Генриетту «находило»; иногда они говорили, как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари: «Невероятно!» Мари изобрела очень сложную систему очков: каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица, и я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых

моей «душе художника». Ее это уже не интересовало, все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мари постоянно повторяла, что ей «необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу». Я напомнил ей, как мы возвращались тогда, после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, и как она все время повторяла в поезде: «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали названия станций: Зехтем, Вальберберг, Крюль, Кальшойрен, – вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо, а когда мы вышли на Западном вокзале в Кёльне, она сказала: «Лучше бы мы пошли в кино». Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о «католической атмосфере», которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «братец-не-сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое – «католическая атмосфера». В конце концов, жили мы в Оснабрюкке, а там атмосфера вряд ли такая уж не католическая.

XI

Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать, а спать – почти так же приятно, как заниматься «этим». Мари всегда так говорила, а я всегда думаю об «этом» ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься «этим» с Цюпфнером, у меня просто фантазии не хватает, так же как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «братец-не-сердись», – и одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе, иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума, и даже то, что он некурящий и, наверно, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает: танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна – хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу, – она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зоммервильду, но было слишком рано: лучше всего позвонить часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера – слишком прилично, тут не спросишь, сколько высших моральных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цюпфнера: наперсный крест тринадцатого века или среднерейнскую мадонну четырнадцатого? Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка мадонны – штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он, чего доброго, умрет, утешенный тем, что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целости. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить – способ убийства довольно несовершенный, но как убийство эстета – совершенство! Вообще отправить на тот свет такого здоровяка и силача – дело нелегкое. Зоммервильд высокий, стройный, «воплощенное благообразие», седой, лицо «просветленное», кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота, а еще лучше, пожалуй, из мрамора; жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из ватиканского музея.

Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка, я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля «справа», тоже из политиканов, но из «другой среды, из другого круга», для него Цюпфнер был тем, чем Фредебойль был для Кинкеля: чем-то вроде «правой руки», ну и, конечно, «духовным наследником». Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленней, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни, – это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блотерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель, и они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блотерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет двадцать пять; когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрежетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон», и тут вдруг становилось видно, что ему за пятьдесят и выглядит он

как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить: «ка-ка-ка-ка...» – и мне его становилось жаль, пока он наконец не выдавливал из себя последние слоги – «...нцлер» или «...толон». Мари говорила мне, что он просто потрясюще умен. Это утверждение так и осталось недоказанным, и я только раз слышал, как он произнес больше двадцати слов, это было, когда в их «кружке» обсуждали вопрос о смертной казни. Он был «за, без всяких ограничений», и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ка-ка-ка», и казалось, будто при каждом «ка» он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня, и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать: «Невероятно!» – хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, нектолики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что, если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех нектоликов. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. Блотерта я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверно, он постоянно к ней ходит, он был как-то связан с правлением, где работал Цюпфнер, и при одной мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан, и когда она на прощанье, словно отправляясь в паломничество, сказала: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которую сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая, и мне казалось, что она еще меньше подходит к этому «кружку», чем Мари. Что бы она ни делала: возилась ли на кухне – я и ей как-то помогал делать бутерброды, – улыбалась ли, танцевала или рисовала, – все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зоммервильд слишком много наговорил ей про «откровение» и про миссию художника, и она стала писать одних мадонн. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого: все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадонн рисуют дети или набожные монахи, которые и художниками-то себя не считают. Я стал думать, удастся ли мне отговорить Моника от писания мадонн. Она не дилетантка, еще очень молода, ей года двадцать два – двадцать три, наверняка невинна, и это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы, а тогда она вернулась бы в Бонн и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся, надо будет прежде всего отучить ее от Зоммервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет никаких притязаний, кроме того, чтобы, по возможности, быть гуманным эксплуататором, и этим притязаниям он соответствует вполне. А Зоммервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканным шансонье, даже, может быть, редактором «умело» поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви Св. Корбиниана. Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зоммервильда надо было бы запретить это представление – до того оно невыносимо. Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гофмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение: «Пусть сущее пребудет, а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк пастор, запинаясь, бормочет с кафедры непостижимые истины этой религии и не воображает, будто говорит так, что «хоть сейчас в печать». Мари огорчилась, увидев, что проповедь Зоммервильда не произвела на меня впечатления. Особенно мучительно было потом,

когда мы после проповеди зашли в кафе, неподалеку от корбинианской церкви, там набилось полным-полно всяких людей «при искусстве», которые тоже слушали Зоммервильда. Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас тоже втянули туда, и эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз, и не два, и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком – Мари шепнула, что она уже «на три четверти обращена», – была готова целовать Зоммервильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы.

Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубаху и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как зазвонил телефон. Я знал только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно, – это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так: «Вчера вы были просто великолепны». Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет, а когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так: «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин...» Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина как клоун, а просто что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера.

Но сегодня он, наверно, не станет говорить мне неприятности и не будет, как обычно, когда я отказываюсь выступать, предсказывать близкий конец света. Он даже не станет приписывать мне «манию отказов». Но должно быть, уже из Оффенбаха, из Бамберга и Нюрнберга тоже пришли отказы, и он начнет мне по телефону жаловаться, какие убытки он из-за меня терпит. Телефон все звонил, громко, бодро, мужественно, я совсем было собрался швырнуть в него диванной подушкой, но вместо того накинул халат, пошел в столовую и остановился перед заливавшимся телефоном. У этих агентов крепкие нервы, как положено их сословию, и слова вроде «утонченная артистическая натура» для них все равно что «дортмундское пиво», а всякая попытка поговорить с ними всерьез об искусстве, об артистах – только пустое сотрясение воздуха. Да и они отлично знают, что самый бессовестный артист в тысячу раз совестливее самого добросовестного агента, но у них есть оружие, против которого невозможно бороться: они отлично знают, что настоящий художник не может не делать того, что делает, – пишет ли он картины или клоуном шатается по свету, поет ли песни или высекает «непреходящее» из мрамора и гранита. Художник похож на женщину, которая только и умеет любить и становится жертвой первого попавшегося осла. А художников и женщин эксплуатировать легче всего, и в каждом агенте сидит сутенер – в ком только на один процент, а в ком и на все девяносто. И этот телефонный звонок звучал совершенно по-сутенерски. Конечно, Цонерер уже выведал у Костерта, когда я уехал из Бохума, и точно знал, что я сейчас дома. Я завязал пояс халата и взял трубку. Мне в лицо сразу ударил пивной запах.

– Черт вас дерит, Шнир, – сказал он, – как можно заставлять меня столько ждать?

– Я только что сделал робкую попытку принять ванну, – сказал я. – Разве это нарушение контракта?

– Ваш юмор – просто юмор висельника, – сказал он.

– А где же веревка? – спросил я. – Уже болтается?

– Ну, хватит символики, – сказал он, – поговорим о деле.

– Не я первый завел символический разговор, – сказал я.

– Не важно, кто начал первый, – сказал он. – Значит, вы решительно намерены убить себя как артиста?

– Милый господин Цонерер, – тихим голосом сказал я, – вам нетрудно немножко отвернуться от трубки, от вас так и разит пивом прямо мне в лицо.

Он выругался себе под нос на диалекте: «Чучелка, ферт конопатый!» И вдруг рассмеялся:

– Нахальства у вас по-прежнему хоть отбавляй! О чем это мы говорили?

– Об искусстве, – сказал я, – но, если можно, давайте лучше поговорим о делах.

– Тут нам и говорить не о чем, – сказал он, – я от вас не откажусь, слышите? Вы меня поняли?

Я просто онемел от удивления.

– На полгода мы вас снимем с программы, а потом я снова пущу вас в ход. Надеюсь, этот говнюк из Бохума вас не задел серьезно?

– Задел, – сказал я, – он меня обжулил, зажал бутылку водки и разницу между ценой билета первого и второго класса до Бонна.

– А вы не будьте идиотом, не давайте сбивать себе цену. Контракт есть контракт, а ваш отказ понятен – вы же расшиблись.

– Цонерер, – сказал я тихо, – неужели вы на самом деле человек или вы просто...

– Чушь, – сказал он, – просто я к вам хорошо отношусь. А если вы этого до сих пор не заметили, значит, вы тупее, чем я думал, а кроме того, на вас и сейчас еще подзаработать можно. Только бросьте вы это ребячество, не спивайтесь!

Он был прав. Именно ребячество – другого слова нет. Я сказал:

– А мне помогает.

– В каком отношении?

– В душевном, – сказал я.

– Чушь собачья, – сказал он, – оставьте вы душу в покое. Конечно, можно было бы судиться с Майнцем за нарушение контракта, мы даже могли бы выиграть, но я не советую. Полгода отдыха, а потом я вас опять пущу в ход.

– А на что мне жить? – спросил я.

– Ну-у, – сказал он. – Папаша, наверно, вам что-нибудь подбросит.

– А вдруг не подбросит?

– Поищите себе славную подружку, пусть вас кормит пока что.

– Нет, уж лучше халтурить, – сказал я, – на велосипеде по деревням, по разным городишкам.

– Ошибаетесь, – сказал он, – в деревнях и в городишках тоже читают газеты, и в данный момент мне вас не продать даже в школьный клуб по двадцать марок за вечер.

– А вы пробовали? – спросил я.

– Да, – сказал он. – Целый день названивал по телефону. Ни черта не вышло. Нет ничего хуже, чем клоун, который вызывает жалость, от этого людей берет тоска. Все равно как если бы кельнер, подавая пиво, подкатил к вашему столику в больничном кресле. Вы строите себе иллюзии.

– А вы? – спросил я. Он промолчал, и я сказал: – Я о том, что, по-вашему, через полгода мне снова стоит попробовать.

– Все возможно, – сказал он, – но это единственный шанс. Конечно, лучше бы переждать с год.

– Ах, с год? – сказал я. – А вы знаете, сколько дней в году?

– Триста шестьдесят пять, – сказал он и опять беззастенчиво дыхнул мне прямо в лицо.

От запаха пива меня мутило.

– А может быть, попробовать выступить под другой фамилией, – сказал я, – наклеить другой нос и номера другие. Петь под гитару, жонглировать.

– Чушь, – сказал он, – от вашего пения уши вянут, в жонглерстве вы жалкий дилетант. Все это чушь. В вас сидит очень сносный клоун, может быть, даже совсем хороший, но не являйтесь ко мне, пока вы по крайней мере месяца три не будете тренироваться ежедневно часов по восемь. Тогда приду посмотреть ваши новые номера, а может, и старые, только тренируйтесь, бросьте это дурацкое пьянство.

Я промолчал. Я слышал, как он пыхтит, как затягивается сигаретой.

– Поищите себе опять такую родную душу, как та девушка, что с вами ездила, – сказал он.

– Родную душу, – повторил я.

– Да, – сказал он, – а все остальное чушь. И не воображайте, что обойдетесь без меня и сможете халтурить в каких-то жалких клубах. Этого хватит недели на три, Шнир. Можете на юбилеях каких-нибудь пожарников покривляться, а потом обойти их с шапкой. Но если я об этом узнаю, я тут же вам все пути отрежу.

– Собака вы! – сказал я.

– Да, – сказал он, – лучшей собаки вам не найти, а если начнете халтурить на свой страх и риск, вы, самое большее через два месяца, будете конченным человеком. Я-то это дело знаю. Вы меня слушаете?

Я промолчал.

– Слушаете вы меня? – спросил он негромко.

– Да, – сказал я.

– Я к вам хорошо отношусь, Шнир, – сказал он. – И работали мы с вами неплохо, иначе я не тратил бы столько денег на телефонный разговор.

– Уже больше семи, – сказал я, – значит, вам это удовольствие обойдется от силы в две с половиной марки.

– Да, – сказал он, – может, и в три, но в данный момент ни один агент на вас и того не поставит. Значит, так: через три месяца вы мне покажете не меньше шести отлично отработанных номеров. Выжимайте из своего старика сколько сможете. Все.

И он действительно дал отбой. Я подержал трубку в руке, послушал гудки, подождал и только потом положил трубку на место. Раза два он меня обставлял, но врать никогда не врал. Было время, когда я, наверно, мог бы получать не меньше двухсот пятидесяти марок за вечер, а он давал мне по договору сто восемьдесят и, должно быть, неплохо на мне зарабатывал. Только повесив трубку, я понял, что он первый человек, с которым я охотно поговорил бы еще. Все-таки он должен был бы дать мне хоть какую-нибудь возможность поработать, не заставляя меня ждать полгода. Неужели не найдется трупы актеров, где я мог бы пригодиться. Я очень легкий, не знаю головокружений и мог бы после небольшой тренировки стать акробатом, а не то отработать с другим клоуном какие-нибудь репризы. Мари всегда говорила, что мне нужен партнер, тогда мне не так будут надоедать мои номера. Нет, Цонерер, безусловно, не обдумал всех возможностей. Я решил позвонить ему немного погодя, ушел в ванную, сбросил халат, сгреб в угол платье и забрался в ванну. Теплая ванна – не меньшее удовольствие, чем сон. На гастролях я всегда, даже когда денег было в обрез, брал номер с ванной. Мари обычно говорила, что в этом расточительстве повинно мое происхождение, но это вовсе не так. Дома у нас так же скупилась на теплую воду для ванны, как и на все остальное. Принимать холодный душ разрешалось в любое время, а теплая ванна и дома считалась расточительством, и даже Анну, охотно закрывавшую глаза на многое другое, тут было трудно переубедить. Видно, в ее «П. П. 9» горячая ванна тоже считалась одним из смертных грехов.

Даже в ванне я скучал по Мари. Бывало, я лежу в ванне, а она мне читает вслух издали, сидя на кровати, один раз она мне прочла из Ветхого Завета всю историю царя Соломона и царицы Савской, в другой раз битву Маккавеев, иногда читала главы из романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, Ангел». А теперь я лежал всеми брошенный в этой нелепой ржаво-красной ванне – вся мыльница, ручка душа и сиденье на унитазах были ржаво-красного цвета. Мне не хватало голоса Мари. Если подумать, так она даже Библию не сможет читать с Цюпфнером без того, чтобы не почувствовать себя шлюхой или предательницей. Ей сразу вспомнится гостиница в Дюссельдорфе, где она читала мне про Соломона и царицу Савскую, пока я не уснул в ванне от усталости. Зеленые ковры в номере, темные волосы Мари, ее голос, а потом она принесла мне зажженную сигарету, и я ее поцеловал.

Я лежал по горло в мыльной пене и думал о ней. Не может она ничего делать с ним или при нем, не вспоминая меня. Она даже не может в его присутствии завинчивать крышечку от зубной пасты. Как часто мы с ней завтракали, то скудно – впроголодь, то роскошно – досыта, то второпях, то спокойно, ранним утром или около полудня, с полными блюдами джема и совсем без него. При одной мысли, что она каждое утро, в одно и то же время, будет завтракать с Цюпфнером перед тем, как он на своей машине уедет в свое католическое бюро, на меня вдруг напало молитвенное настроение, и я стал просить Бога, чтобы этого никогда не было: «Господи, не допусти ее завтракать с Цюпфнером!» Я попробовал представить себе Цюпфнера: каштановые волосы, белая кожа, высокий, прямой, этакий Алкивиад немецкого католицизма, только легкомыслия того нету. По словам Кинкеля, «хотя он и стоит посреди, но все же скорее справа, чем слева». Эти разговоры про то, кто правый, кто левый, занимали их больше всего. Говоря по-честному, я должен был бы и Цюпфнера причислить к тем четверем католикам, которых я считаю настоящими: это папа Иоанн, Алек Гиннесс, Мари, Грегори, ну и Цюпфнер тоже. Конечно, и для него, при всей его влюбленности, играло роль то, что он спас Мари от греха и перенес в праведную жизнь. А в том, что они когда-то держались за ручки, как видно, ничего серьезного не было. Как-то я заговорил об этом с Мари, она очень трогательно покраснела и сказала, что этой их дружбе «способствовало многое»: их отцов одинаково преследовали нацисты, и потом – католицизм и «вся его манера поведения – ну, ты сам знаешь, я и сейчас к нему хорошо отношусь».

Я спустил часть остывшей воды, подлил горячей, подбавил еще немного экстракта. Я подумал о своем отце – он имеет долю и в заводе, где делают экстракты для ванн. Что бы я ни покупал – сигареты, мыло, писчую бумагу, эскимо на палочке или сосиски, – со всего отец получает свою долю прибыли. Подозреваю, что даже с тех двух сантиметров зубной пасты, которую я расходую, он тоже получает прибыль. Но говорить про деньги у нас в доме считалось неприличным. Когда Анна хотела показать счета маме, проверить их, мама всегда говорила: «Опять про деньги – как противно!» У нее это «и» звучит почти как «ю»: «протювно». Карманных денег нам почти не давали. К счастью, у нас была огромная родня, и когда их всех скликали, набиралось человек пятьдесят-шестьдесят теток и дядек, и среди них попадались очень славные: всегда совали нам немного денег, потому что мамина скупость вошла в поговорку. А вдобавок ко всему мать моей матери была из дворян, некая фон Хоэнброде, и моему отцу до сих пор кажется, что его приняли в зятя из милости, хотя фамилия тестя была Тулер и только теща была урожденная фон Хоэнброде. Сейчас немцы помешались на дворянстве, рвутся к нему больше, чем в 1910 году. Даже люди вроде бы вполне интеллигентные готовы передрасться из-за дворянских знакомств. Надо бы обратить внимание маминого Объединенного комитета на это дело. Ведь это тоже сущий расизм. Даже такой неглупый человек, как мой дед, до сих пор не может переварить, что Шнирам должны были дать дворянство еще летом 1918 года, что это уже «в основном» было решено, но тут в самую ответственную минуту кайзер, который должен был подписать рескрипт, смылся – видно, у него других забот было предостаточно, если только они у него вообще были. Историю о Шнирах, «в основном» уже получивших дворянство, и по сей день, почти что через полвека, рассказывают при любой okazji. «Рескрипт нашли в папке его величества», – всегда повторяет мой отец. Удивительно, как никто из них не поехал в Дорн и не заставил кайзера подписать этот рескрипт. Я бы непременно послал туда гонца, верхового, – по крайней мере поручение было бы выполнено в соответствующем стиле.

Я вспомнил, как Мари распаковывала чемоданы, когда я уже лежал в ванне, как она оставалась перед зеркалом, снимала перчатки, приглаживала волосы; как потом вынимала плечики из шкафа, развешивала на них платья, потом снова вешала их в шкаф и как плечики поскрипывали на медной палке. Потом башмаки – тихий стук каблучков, шорох подметок, и как она расставляла свои тюбики, баночки и флакончики на стеклянной крышке туалетного

столика: большие банки с кремом, узенький флакончик с лаком для ногтей, пудреница и, с отчетливым металлическим стуком, – карандаши для губ.

Я вдруг заметил, что лежу в ванне и плачу, и тут же сделал неожиданное открытие из области физики: слезы показались мне холодными. Раньше они всегда казались горячими. И я за последние месяцы, когда напивался, часто плакал такими горячими слезами. Я стал думать о Генриетте, об отце, о вновь обращенном Лео и удивился, почему он до сих пор не дал о себе знать.

XII

В первый раз она сказала, что боится меня, когда мы были в Оснабрюкке и я отказался поехать в Бонн, куда ей непременно хотелось съездить – «подышать католической атмосферой». Мне это выражение не понравилось, я сказал, что и в Оснабрюкке католиков достаточно, и тогда она сказала, что я ее просто не понимаю и не хочу понять.

Мы жили в Оснабрюкке уже два дня, между двумя гастролями, впереди было еще три свободных дня. С утра лил дождь, в кино не шло ничего для меня интересного, и я даже не предложил сыграть в «братец-не-сердись». Уже накануне у Мари во время игры было лицо как у очень терпеливой нянюшки.

Мари читала, лежа на кровати, я курил у окна и смотрел то на Гамбургскую улицу, то на вокзальную площадь, где люди перебежали под дождем с вокзала к остановке трамвая. Заниматься «этим» мы тоже не могли. Мари была больна. У нее был не то чтобы настоящий выкидыш, но что-то вроде того. Я не разобрал, в чем дело, и никто мне ничего не объяснил. Во всяком случае, она думала, что забеременела, а теперь все кончилось, хотя она утром пробыла в больнице всего часа два. Она была бледная, усталая, очень раздражительная, и я сказал, что ей, наверно, вредно сейчас ехать так далеко на поезде. Мне очень хотелось узнать обо всем подробнее, не было ли ей больно, но она мне ничего не рассказывала, только иногда плакала какими-то незнакомыми мне, сердитыми слезами.

Этого мальчугана я увидел, когда он проходил слева вверх по улице на вокзал; он промок до костей и под проливным дождем держал перед собой раскрытый школьный портфельчик. Крышку он отвернул и нес его перед собой с таким выражением, какое я видел только на картинках, где изображены волхвы, несущие в дар младенцу Христу золото, ладан и мирру. Я разглядел мокрые, почти расплывшиеся обложки учебников. Выражение его лица напомнило мне Генриетту: такая в нем была отрешенность, такое благоговейное упоение. Мари спросила меня с кровати:

– О чем ты думаешь?

И я сказал:

– Ни о чем.

Я видел, как мальчик перешел вокзальную площадь очень медленным шагом и исчез в подъезде вокзала. Мне стало за него страшно. За эти блаженные четверть часа он минут пять будет горько расплачиваться: вопли мамыши, огорченный отец, в доме нет денег на новые книжки и тетради.

– О чем ты думаешь? – опять спросила Мари.

Я чуть опять не ответил: «Ни о чем», потом вспомнил о мальчике и рассказал, о чем я думаю, – как этот мальчик вернется домой, в какую-нибудь соседнюю деревню, и как он, должно быть, начнет врать, потому что все равно никто не поверит, что он сделал. Он расскажет, как он поскользнулся, как его портфель упал в лужу или как он его только на минуту поставил на землю, под самую водосточную трубу, и вдруг оттуда хлынул целый поток, прямо на книжки. Рассказывал я это все Мари тихим монотонным голосом, и она вдруг спросила с кровати:

– Не понимаю, зачем ты мне рассказываешь всю эту чепуху?

– Потому что я именно об этом думал, когда ты спросила.

Она не поверила про мальчика, и я рассердился. Никогда мы друг другу не лгали, никогда один из нас не подозревал другого во лжи. Я так рассвирепел, что заставил ее встать, обуться и побежать со мной на вокзал. Второпях я забыл зонтик, мы промокли, но мальчика на вокзале не нашли. Мы прошли по залу ожидания, зашли даже в бюро добрых услуг, наконец, я спросил у контролера при выходе, не ушел ли только что какой-нибудь поезд. Он сказал:

– Да, ушел, две минуты назад на Бомте.

Я спросил, не проходил ли тут мальчик, совершенно промокший, белокурый, примерно такого вот роста, и он подозрительно спросил:

– А в чем дело? Спер что-нибудь?

– Нет, – сказал я, – я только хотел узнать, уехал он или нет. – Мы оба – и Мари и я – стояли мокрые, он подозрительно осмотрел нас с ног до головы.

– Вы рейнландцы? – спросил он. Это звучало так, будто он спросил: «Вы уголовники?»

– Да, – сказал я.

– Справки такого рода я могу давать только с согласия начальства, – сказал он.

Как видно, он напоролся на какого-нибудь жулика с Рейна, скорее всего в армии. Я знал одного рабочего сцены, которого как-то в армии надул один берлинец, и с тех пор каждый житель и каждая жительница Берлина стали для него личными врагами. Когда выступала одна берлинская артистка, он вдруг выключил свет – она оступилась и сломала ногу. Никто не поверил, как это случилось, сказали: «Короткое замыкание», но я уверен, что этот рабочий нарочно выключил свет, потому что девушка была из Берлина, а его когда-то в армии надул берлинец. Этот контролер у выхода так смотрел на меня, что мне стало жутко.

– Я держал пари с этой дамой, – сказал я, – речь идет о пари. – Слова прозвучали фальшиво, потому что это было вранье, а по мне сразу видно, когда я вру.

– Так, – сказал он, – пари держали? Да, вашему брату, с Рейна, только дай волю.

Толку от него добиться было невозможно. Я подумал: не взять ли такси, доехать до Бомте, там подождать на вокзале поезда и посмотреть, как оттуда выйдет мальчик. Но ведь он мог вылезти на какой-нибудь захолустной станции до или после Бомте. Мокрые, промерзшие насквозь, мы вернулись в отель. Я завел Мари в бар внизу, стал у стойки, обнял ее за плечи и заказал коньяк. Хозяин, он же владелец отеля, посмотрел на нас так, будто ему хотелось тут же позвать полицию. Накануне мы целый божий день играли в «братец-не-сердись» и заказывали в номер бутерброды с ветчиной и чай, а утром Мари уехала в больницу и вернулась бледная. Он со стуком поставил перед нами рюмки с коньяком, выплеснув половину и демонстративно не глядя в нашу сторону.

– Ты мне не веришь? – спросил я Мари. – Про этого мальчика?

– Нет, – сказала она, – я тебе верю.

Сказала она это только из жалости, а вовсе не потому, что действительно поверила, а я злился, потому что у меня не хватало смелости отчитать хозяина за выплеснутый коньяк. Рядом с нами грузный дядя, причмокивая, пил пиво. После каждого глотка он слизывал пену с губ и смотрел на меня так, будто хотел со мной заговорить. Ужасно боюсь разговаривать с полупьяными немцами определенного возраста, они всегда заводят речь о войне, считают, что все это было здорово, а когда напьются окончательно, выясняется, что они – убийцы и ничего «особенно плохого» в этом не видят. Мари дрожала от холода и неодобрительно покачала головой, когда я пододвинул наши пустые рюмки хозяину. Я с облегчением увидел, что на этот раз он подал их нам осторожно, не пролив ни капли. Я уже не чувствовал себя трусом. Наш сосед по стойке высосал рюмку и забормотал себе под нос:

– В сорок четвертом мы ведрами пили – что водку, что коньяк, да, в сорок четвертом ведрами, а остатки – на мостовую и подпалить!.. Лишь бы этим раззявам ни капли не осталось... – Он захохотал: – Да, ни единой капли!

Когда я снова пододвинул хозяину наши рюмки через стойку, он наполнил только одну и вопросительно взглянул на меня перед тем, как налить вторую, и только тут я заметил, что Мари ушла. Я кивнул, и он налил вторую рюмку. Я выпил обе и до сих пор радуюсь, что сразу после этого ушел. Мари плакала, лежа на кровати в номере, и когда я положил ей руку на лоб, она ее отодвинула, тихо, ласково, но все-таки отодвинула. Я сел рядом, взял ее руку, и она ее не отняла. Я обрадовался. Уже стемнело, и я целый час присидел возле нее на кровати, держа

ее руку, прежде чем заговорить. Я говорил тихо, снова повторил всю историю про мальчика, и она пожала мою руку, как будто хотела сказать: «Да, да, я тебе верю». Потом я ее попросил объяснить мне подробнее, что с ней сделали в больнице, она сказала, что это «женское» и «безвредно, но отвратительно». Я испугался, услышав слово «женское». До сих пор почему-то оно звучит для меня таинственно и страшно, в этих делах я совершенный профан. Я три года прожил с Мари, прежде чем впервые услышал про «женские болезни». Конечно, я знал, что у женщин рождаются дети, но никаких подробностей себе не представлял. Мне было двадцать четыре года, Мари уже три года была моей женой, когда я узнал, как это бывает. Мари тогда рассмеялась, поняв, до чего я наивен. Она прижала мою голову к груди и все повторяла: «Ты прелесть, ты просто прелесть!» Потом мне уже обо всем рассказал Карл Эмондс, мой школьный товарищ, который вечно занимается своими ужасными противозачаточными выкладками.

Попозже я пошел в аптеку, принес снотворное для Мари и сидел у ее постели, пока она не уснула. До сих пор я не знаю, что с ней было и какие осложнения вызвали ее «женские дела». Наутро я пошел в городскую библиотеку и прочел в энциклопедии все, что про них написано, и мне стало легче. После обеда Мари одна уехала в Бонн, взяв только маленький чемоданчик. Она и не просила, чтобы я тоже поехал с ней. Она только сказала:

– Значит, послезавтра встретимся во Франкфурте.

Вечером, когда пришли из полиции нравов, я обрадовался, что Мари уехала, хотя ее отсутствие причинило мне большие неприятности. Наверно, на нас донес хозяин, разумеется, я всегда говорил, что Мари моя жена, и только раз или два возникали какие-то затруднения. Но тогда, в Оснабрюкке, было очень неприятно. Пришли двое, мужчина и женщина, оба в штатском, очень вежливые и какие-то очень сдержанные – наверно, их там муштруют, учат «производить хорошее впечатление». Некоторые формы полицейской вежливости мне особенно неприятны. Женщина была довольно красивая, очень мило подкрашенная, села только после того, как я ей предложил, даже взяла сигарету, в то время как ее коллега «незаметно» оглядывал наш номер.

– Фройляйн Деркум уже не с вами?

– Нет, – сказал я, – она уехала немного раньше, послезавтра мы встретимся во Франкфурте.

– Вы артист?

Я сказал:

– Да. – Хотя это не совсем так, но я подумал, что проще сказать «да».

– Вы нас должны понять, – сказала чиновница, – нам приходится проводить кое-какие обследования, когда у приезжих бывают абортивные... – она кашлянула, – заболевания.

– Я все понимаю, – сказал я, хотя в энциклопедии ничего про «абортивные заболевания» сказано не было. Мужчина отказался сесть вполне вежливо и продолжал незаметно осматриваться.

– Ваш домашний адрес? – спросила женщина. Я дал ей наш боннский адрес. Она встала. Ее спутник посмотрел на открытый платяной шкаф.

– Это платье фройляйн Деркум? – спросил он.

– Да, – сказал я.

Он «многозначительно» взглянул на свою спутницу, но та пожала плечами, он тоже; потом он еще раз тщательно осмотрел ковер, заметил пятно, нагнулся и посмотрел на меня, словно ожидая, что я сейчас сознаюсь в убийстве. Потом они ушли. До самого конца этой комедии они были отменно вежливы. Как только они вышли, я торопливо уложил вещи, велел подать счет, вызвал с вокзала носильщика и уехал ближайшим поездом. Я заплатил хозяину гостиницы даже за недожитый день. Вещи я послал багажом во Франкфурт и сел в первый же поезд, отправлявшийся на юг. Мне было страшно, хотелось поскорее уехать. Укладывая вещи, я увидел кровь на полотенце Мари. Мне было страшно даже на перроне, пока я ждал франк-

фуртского поезда, – все казалось, что сейчас чья-то рука ляжет мне на плечо и голос сзади проговорит: «Сознаетесь?» Я бы, наверно, сознался в чем угодно. Около полуночи я проезжал Бонн. Но мне и в голову не пришло выйти.

Я доехал до самого Франкфурта, прибыл туда около четырех утра, остановился в очень дорогой гостинице и позвонил Мари в Бонн. Я боялся, что ее не будет дома, но она сразу подошла к телефону и сказала:

– Ганс! Ну слава богу, что ты позвонил, я так беспокоилась.

– Беспокоилась? – сказал я.

– Да, – сказала она, – я звонила в Оснабрюкк и узнала, что ты уехал. Я сейчас же еду во Франкфурт, сию минуту.

Я принял ванну, велел подать себе в номер завтрак, уснул, и в одиннадцать утра меня разбудила Мари. Ее будто подменили – такая она была милая, такая веселая, и когда я ее спросил: «Ну как, надышалась католической атмосферой?» – она засмеялась и поцеловала меня. Про полицию я ей ничего не сказал.

ХІІІ

Я подумал: не сменить ли воду еще раз. Но вода совсем остыла, я почувствовал, что пора выходить. От ванны колену не стало легче, оно еще больше распухло и почти не разгибалось. Вылезая из ванны, я поскользнулся и чуть не упал на красивые плитки пола. Я решил сейчас же позвонить Цонереру и предложить, чтобы он включил меня в какую-нибудь труппу. Я вытерся, закурил и посмотрел на себя в зеркало – я здорово исхудал. Когда зазвонил телефон, у меня на минуту мелькнула надежда, что это Мари. Но ее звонки звучали не так. Может быть, это Лео. Я прохромал в столовую, снял трубку и сказал:

– Алло!

– А-а! – сказал голос Зоммервильда. – Надеюсь, я не помешал вам делать двойное сальто.

– Я не акробат, – злобно сказал я, – я только клоун, а между клоунами и акробатами такая же разница, как между иезуитами и доминиканцами. И если уж я буду делать что-нибудь двойное, так только двойное убийство.

Он рассмеялся.

– Шнир, Шнир, – сказал он, – вы меня тревожите всерьез. Кажется, вы приехали в Бонн, чтобы всем нам объявить войну по телефону?

– Я вам, что ли, позвонил, – сказал я, – или вы мне?

– Ах, – сказал он, – неужели это так существенно?

Я промолчал.

– Мне очень хорошо известно, – сказал он, – что вы плохо ко мне относитесь, может быть, вас это удивит, но я-то к вам отношусь хорошо, и вы должны признать за мной право и по отношению к вам проводить в жизнь те принципы, в которые я верю и которые я представляю.

– Только насильно, – сказал я.

– Нет, – сказал он очень отчетливо, – нет, никак не насильно, но именно так, как того пожелало бы лицо, о котором идет речь.

– Зачем вы говорите «лицо», а не Мари?

– Потому что мне важно сохранить в этом деле всю возможную объективность.

– В этом ваша грубейшая ошибка, прелат, – сказал я, – тут все настолько субъективно, насколько это вообще возможно.

Мне было холодно в одном халате, сигарета намокла и не тянула как следует.

– Я не только вас, я и Цюпфнера убью, если Мари не вернется, – сказал я.

– Ах, Бог мой, – раздраженно сказал он, – не впутывайте вы Гериберта в эту историю.

– А вы остряк, – сказал я, – какой-то тип отнимает у меня жену, и именно его я не должен впутывать в эту историю.

– Он не какой-то тип, а фройляйн Деркум не ваша жена, и он ее не отнимал, она сама ушла.

– Совершенно добровольно, да?

– Да, – сказал он, – совершенно добровольно, хотя, может быть, в ней и шла борьба между человеческим и надчеловеческим.

– Ах вот как, – сказал я, – а в чем же тут надчеловеческое?

– Шнир, – раздраженно сказал он, – я верю, несмотря на все, что вы неплохой клоун, но в теологии вы ничего не понимаете.

– Ну, уж настолько-то я понимаю, – сказал я, – понимаю, что вы, католики, по отношению ко мне, неверующему, так же жестоки, как иудеи по отношению к христианам, а христиане – к язычникам. Все время только и слышишь: закон, теология, а в сущности речь идет об идиотском клочке бумаги, который выдает государство, да, государство.

– Вы путаете повод и причину, – сказал он, – но я понимаю вас, Шнир. Да, я вас понимаю, – повторил он.

– Ничего вы не понимаете, – сказал я, – а в результате получится двойное прелюбодеяние. Первое – когда Мари выйдет замуж за вашего Гериберта, а второе – когда она в один прекрасный день убежит со мной. Конечно, я не такой утонченный, я не художник, и, главное, я не настолько верующий христианин, чтобы мне прелат мог сказать: «Ах, Шнир, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?»

– Вы не восприняли теологическую суть несоответствия между вашим случаем и тем, о котором мы тогда спорили.

– А какое же тут несоответствие? – сказал я. – Может быть, то, что Безевиц благоразумнее и для вашего круга – хороший двигатель веры?

– Нет, – и тут он искренне рассмеялся, – здесь несоответствие в церковно-правовом отношении. Б. жил с разведенной женой, с которой он никак не мог вступить в церковный брак, а вы – ведь фройляйн Деркум не была разведена, и вашему браку ничего не препятствовало.

– Да я уже согласился было все подписать, – сказал я, – и даже принять католичество.

– Согласились, но с каким пренебрежением.

– Что же мне лицемерить, притворяться, будто я что-то чувствую, во что-то верю, когда этого нет? Если вы настаиваете на законе, на праве, то есть на чистейших формальностях, зачем вы упрекаете меня в отсутствии чувства?

– Ни в чем я вас не упрекаю.

Я промолчал. Он был прав, и мне стало неприятно. Да, Мари ушла сама, ее, разумеется, приняли с распростертыми объятиями, но, если бы она захотела остаться со мной, никто не мог бы заставить ее уйти.

– Алло, Шнир, – сказал Зоммервильд. – Вы тут?

– Да, – сказал я, – я еще тут. – Я совсем иначе представлял себе наш с ним разговор по телефону. Разбудить бы его часа в три ночи, обругать, пригрозить.

– Чем я могу вам помочь? – тихо спросил он.

– Ничем, – сказал я, – и даже если вы мне скажете, что эти тайные совещания в ганноверском отеле созывались исключительно для того, чтобы укрепить Мари в ее верности мне, я вам поверю.

– Очевидно, вы не осознали, Шнир, – сказал он, – что в ваших отношениях с фройляйн Деркум наступил кризис.

– И тут-то вы сразу и влезли, – сказал я, – сразу показали ей законный и благочестивый выход, как от меня уйти. А я-то считал, что католическая церковь против развода.

– О Господи Боже, Шнир, – крикнул он, – не можете же вы требовать, чтобы я, католический пастырь, укреплял в женщине намерение жить во грехе!

– Почему бы и нет? – сказал я. – Вы же толкаете ее на прелюбодеяние, на измену; что ж, если вы, как католический пастырь, за это отвечаете, отлично!

– Ваш антиклерикализм меня поражает. Я встречал его только у католиков.

– Вовсе я не антиклерикал, не выдумывайте, я просто анти-Зоммервильд, потому что вы ведете нечестную игру, двурушничаете.

– Бог мой, – сказал он, – это еще почему?

– Послушать ваши проповеди, так сердце у вас раскрытое, что твой парус, а потом вы каверзничаете и шушукаетесь по гостиничным закоулкам. Пока я зарабатываю хлеб в поте лица, вы сговариваетесь с моей женой, не выслушав меня. Это нечестно, это двурушничество, впрочем, чего еще ждать от эстета?

– Бранитесь сколько угодно, – сказал он, – обижайте меня. Я так хорошо вас понимаю.

– Ни черта вы не понимаете, вы опоили Мари каким-то гнусным пойлом, а я люблю пить чистые напитки: мне чистый самогон милее, чем разбавленный коньяк.

– Говорите, говорите, – сказал он, – чувствуется, что вы это переживаете всей душой.

– Да, переживаю, прелат, и душой и телом, потому что речь идет о Мари.

– Настанет время, Шнир, когда вы осознаете, что были глубоко не правы по отношению ко мне. И в этом деле, да и вообще, – в его голосе послышались почти слезливые нотки, – а что касается моего пойла, так не забывайте, что многих людей мучает жажда, и лучше напоить их любимым пойлом, чем совсем не давать пить.

– Но ведь в вашем Священном Писании говорится о чистой, прозрачной воде. Почему же вы ею не поите людей?

– Может быть, потому, – сказал он, и голос его дрогнул, – что я, если продолжать вашу аналогию, стою в конце цепи, черпающей воду из источника, может быть, я – сотый или тысячный в этой цепи, и вода доходит до меня уже не такой чистой. И еще одно, Шнир, – вы слушаете?

– Слушаю, – сказал я.

– Можно любить женщину и не сожительствуя с ней.

– Вот как? – сказал я. – Теперь вы начнете разговор про Деву Марию.

– Не издевайтесь, Шнир, – сказал он, – это вам не к лицу.

– Вовсе я не издеваюсь, – сказал я, – я вполне могу уважать то, чего не понимаю. Но я считаю роковой ошибкой ставить Деву Марию в пример молодой девчонке, которая не собирается уходить в монастырь. Однажды я даже сделал об этом доклад.

– Вот как? – спросил он. – Где же это?

– Тут, в Бонне, – сказал я, – перед девочками из группы Мари. Я приехал из Кёльна к ним на вечер, развлек их двумя-тремя номерами и побеседовал о Деве Марии. Спросите Монику Сильвс, прелат. Конечно, я не мог разговаривать с молодыми девицами о том, что у вас называется «плотским вожделением». Вы меня слушаете?

– Да, слушаю и удивляюсь, – сказал он. – Вы начинаете говорить грубости.

– Фу-ты, черт! – сказал я. – Послушайте, прелат, весь процесс, предшествующий зачатию ребенка, – довольно грубое дело. Пожалуйста, если вам приятнее, можем побеседовать об аистах. Но все, что проповедуется и внушается насчет этого грубого дела, – все это ханжество, лицемерие. В глубине души вы считаете, что это свинство надо хотя бы узаконить браком, раз оно в природе человека, или же создаете себе иллюзии и отделяете все плотское от остального, что имеет к этому отношение. Но это-то остальное и есть самое сложное. Даже законная жена, которая через силу терпит своего законного мужа, – это не только плоть, даже самый грязный пьяница, идущий к проститутке, не одна только плоть, так же как и она сама, эта проститутка. Вы обращаетесь со всем этим, как с бенгальским огнем, а это – динамит.

– Шнир, – сказал он, – удивительно, как много вы об этом думали.

– Удивительно? – закричал я. – Вы бы лучше удивлялись на тех безжалостных сволочей, которые относятся к женам как к своей законной собственности. Вы спросите Монику Сильвс, что я тогда говорил девушкам. С тех пор как я понял, что я мужского пола, я почти ни о чем другом так серьезно не думал, чего же вы удивляетесь?

– Но у вас нет никакого, просто ни малейшего представления о *праве*, о *законе*. Ведь как бы сложны эти вопросы ни были, их необходимо как-то упорядочить.

– Да, – сказал я, – знаем мы, как вы наводите порядок. Вы загоняете природу на путь, который сами называете прелюбодеянием, а когда эта природа вмешивается в брак, вы играете на страхе. Исповедь, прощение, грех – и так далее. Все упорядочено, все законно.

Он рассмеялся. Смех был какой-то гнусный.

– Шнир, – сказал он, – теперь я понял, что с вами творится. Вы просто моногамны, как осел.

– Вы даже в зоологии ни черта не понимаете, – сказал я. – А уж в *гомо сапиенс* и подавно. Ослы вовсе не однолюбы, хотя у них и благочестивый вид. Среди ослов царит полнейшая распущенность. Моногамны вороны, колюшки, галки, иногда носороги.

– Но только не Мари, – сказал он. Очевидно, он понял, как больно меня задела эта короткая фраза, потому что тихо добавил: – Очень жаль, Шнир, что мне пришлось вам это сказать, вы мне верите?

Я промолчал. Я выплюнул горячий окурочок на ковер, видел, как рассыпались искры, выжигая мелкие черные дырочки в ковре.

– Шнир, – просительно окликнул он меня, – поверьте хотя бы, что мне тяжело вам это говорить.

– А не все ли равно, – сказал я, – в чем я вам верю? Хорошо, пожалуйста, я вам верю.

– Вы только что так много говорили о зове природы, – сказал он, – вам надо было бы последовать этому зову, поехать вслед за Мари, бороться за нее.

– Бороться! – сказал я. – А разве есть такое слово в ваших проклятых законах о браке?

– Но вы с фройляйн Деркум не состояли в браке.

– Хорошо, – сказал я. – Пусть будет так. Не состояли. Но я чуть ли не каждый день пробовал к ней дозвониться, я ей каждый день писал.

– Знаю, – сказал он, – знаю. Теперь уже поздно.

– Значит, теперь осталось только нарушить этот брак, – сказал я.

– Нет, вы на это не способны, – сказал он. – Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и можете браниться и угрожать мне сколько угодно, я буду повторять одно: самое страшное в вас то, что вы очень наивный, я бы даже сказал – очень чистый человек. Чем же мне вам помочь?.. Может быть...

Он замолчал.

– Вы хотите сказать – деньгами? – сказал я.

– Да, и деньгами, но я имел в виду ваши профессиональные дела.

– Может быть, мне помощь и понадобится, – сказал я, – и денежная, и деловая. Так где же Мари?

Я услышал его дыхание и в тишине впервые почувствовал какой-то запах: пахло некрепким лосьоном для бритья, немного красным вином и еще сигарой, но очень слабо.

– Они уехали в Рим, – сказал он.

– Медовый месяц, что ли?

– Так оно называется, – сказал он.

– Для полного бл...ства, – сказал я. Я повесил трубку, не сказав «спасибо» или «до свидания». Я видел черные дырочки, которые прожгла сигарета в ковре, но слишком устал, чтобы наступить на сигарету, затушить искры. Мне было холодно, колено болело. Слишком долго я просидел в ванне.

Со мной Мари ехать в Рим не захотела. Она покраснела, когда я ей предложил поехать, и сказала: «В Италию – пожалуйста, но только не в Рим». И когда я ее спросил: «Почему?» – она сказала: «Неужели ты не понимаешь?» – «Нет», – сказал я. Но она мне ничего не объяснила. А я бы с удовольствием поехал с ней в Рим, посмотрел бы на папу, мне кажется, что я даже стал бы ждать часами на площади Св. Петра, а потом, когда он подойдет к окну, хлопал бы в ладоши и кричал «эввива!». Но когда я это объяснил Мари, она страшно рассердилась. Она сказала, что это «какое-то извращение», когда агностик вроде меня собирается приветствовать святейшего отца. Она просто ревновала. Я часто замечал это за католиками: они берегут свои сокровища – папу, святое причастие, – как скупцы. А кроме того, я не знаю ни одной группы людей, которая так много мнит о себе, как они. Они во всем мнят о себе бог знает что – и в том, чем сильна их церковь, и в том, в чем ее слабости, и от каждого, в ком они предполагают хоть искру ума, ждут обращения в свою веру. Может быть, Мари потому и не поехала

со мной в Рим, что там ей особенно пришлось бы стыдиться нашей с ней грешной связи. Во многих вещах она была очень наивна, да и особым умом тоже не отличалась. Но поехать туда сейчас, с Цюпфнером, – это уже была подлость. Наверно, они получают аудиенцию, и бедный папа будет называть ее «дочь моя», а Цюпфнера – «сын мой», не подозревая, какие прелюбодеи и распутники преклоняют перед ним колени. Может быть, она поехала с Цюпфнером в Рим и потому, что там ей ничто не напоминало обо мне. Мы с ней побывали в Неаполе, в Венеции и во Флоренции, в Париже и Лондоне и во многих немецких городах. В Риме у нее не возникнет никаких воспоминаний, и там-то она вволю надышится «католической атмосферой». Я решил все-таки еще раз позвонить Зоммервильду и сказать ему, что особенной низостью с его стороны я считаю насмешки над тем, что я однолюб. Но почти всем образованным католикам свойственна эта низость – вечно они прячутся за каменную стену догм и швыряются вырубленными из догм принципами, но, если их всерьез поставить лицом к лицу с их «непоколебимыми истинами», они усмеваются и кивают на «человеческую природу». В крайнем случае они напускают на себя этакую циничную усмешечку, словно только что побывали у самого папы и он им уделил частицу своей непогрешимости. Во всяком случае, стоит только всерьез принять все эти невероятные истины, которые они хладнокровно изрекают, и ты для них сразу становишься либо «протестантом», либо человеком, лишенным чувства юмора. Заговоришь с ними всерьез о браке – они тотчас же выставят своего Генриха VIII: из этой пушки они уже триста лет стреляют, хотят доказать, как твердокаменна их церковь; но если они хотят доказать, как она великодушна, они начинают рассказывать анекдоты про Безевица, повторять шуточки епископов, впрочем, это они делают только среди «посвященных» – читай «образованных и интеллигентных», и тут уж роли не играет, левые это или правые. Когда я предложил Зоммервильду повторить историю с Безевицем с кафедры, он просто взбесился. С кафедры, когда речь идет о браке, они стреляют только из своей главной пушки – из Генриха VIII. Полцарства за брак! Право! Закон! Догма!

Меня мучило от разных причин: физически – потому что с утра, после жалкого завтрака в Бохуме, я ничего, кроме коньяка и сигарет, в рот не брал, душевно – потому что я представил себе, как Цюпфнер в римской гостинице смотрит на Мари, когда она одевается. Наверно, он даже роется в ее белье. Этим тщательно прилизанным, интеллигентным, справедливым и образованным католикам нужны жалостливые женщины. Мари совсем не подходила для Цюпфнера. Именно для такого, как он, всегда безукоризненно одетого – достаточно модно, чтобы не казаться старомодным, но не настолько модно, чтобы казаться франтом, – для такого человека, который по утрам щедро обливается холодной водой и чистит зубы с таким рвением, словно хочет поставить рекорд, – нет, для такого человека Мари недостаточно умна и даже дольше его возится по утрам с одеванием. Такой тип, перед тем как его проведут к папе на аудиенцию, непременно обмахнет носовым платком пыль с башмаков. Мне даже стало жаль папу, перед которым они будут стоять на коленях. Он улыбнется доброй улыбкой, всем сердцем радуясь при виде этой красивой, симпатичной католической немецкой четы, – и его опять обманут. Разве он может заподозрить, что благословил двух прелюбодеев?

В ванной я растерся как следует, оделся, пошел на кухню и поставил греть воду. Моника обо всем подумала. На плите лежали спички, смолотый кофе стоял в плотно закупоренной коробке, рядом – фильтр, в холодильнике – ветчина, яйца, овощные консервы. Но я люблю возиться на кухне, только если это единственная возможность удрать от «взрослых» разговоров. Когда Зоммервильд начинает распространяться об «эросе», Блотерт выдавливают из себя «ка-ка-ка... канцлер» или Фредебойль произносит ловко скомпилированную речь о Кокто, тогда, конечно, лучше всего удрать на кухню и там выжимать майонез из тубиков, разрезать оливки, мазать ливерную колбасу на хлеб. Но если мне надо одному что-то готовить для себя на кухне, я совсем теряюсь. От одиночества руки становятся неловкими, а когда надо открывать консервы или выпускать яйца на сковороду, на меня нападает глубокая меланхолия. Я вовсе

не закоренелый холостяк. Когда Мари болела или работала – одно время в Кёльне она служила в писчебумажном магазине, – мне ничего не стоило заниматься хозяйством, а когда у нее был первый выкидыш, я даже выстирал белье, пока наша хозяйка еще не успела вернуться из кино.

Мне удалось открыть банку фасоли, не поранив рук, и, наливая кипяток в фильтр для кофе, я думал о доме, который выстроил себе Цюпфнер. Два года назад я там побывал.

XIV

Я представил себе, как она в темноте возвращается в этот дом. Ровно подстриженный газон в лунном свете кажется почти голубым. У гаража – срезанные ветки, их там сложил садовник. Между кустами дрека и шиповника – баки с мусором, их скоро увезут. Пятница. Она уже знает, чем будет пахнуть на кухне – рыбой; знает, какие записки найдет в комнатах – от Цюпфнера, на телевизоре: «Срочно надо было зайти к Ф. Целую. Гериберт», и вторая, на холодильнике, от служанки: «Ушла в кино, буду в десять. Грета (Луиза, Биргит)».

Открыть гараж, зажечь свет: на белой стене тень от детского самоката и старой швейной машины. Цюпфнеровский «мерседес» на месте, значит, он пошел пешком: «Воздухом подышать, немножко подышать». По грязи на колесах и крыльях было видно, что он много разъезжал по Айфелю, говорил речи на собраниях Союза молодежи Германии («держаться заодно, думать заодно, страдать заодно»).

Взгляд вверх – в детской тоже темно. Соседние дома отделены подъездными дорожками и широкими грядками. Болезненный отсвет телевизоров. Тут возвращение мужа или отца домой – только помеха, даже возвращение блудного сына было бы помехой, и для него не только не зарезали бы упитанного тельца, для него и куренка не зажарили бы – только буркнули бы, что в холодильнике осталась ливерная колбаса.

По субботам соседи общались между собой: когда мячики перелетали через заборы, убежали котята или щенки, тогда мячики перекидывались обратно, а котята – «ах, какой душка!» – или щенки – «ах, какой душка!» – возвращались хозяевам через калитки или через заборы. Приглушенное раздражение, никаких личных намеков; только изредка из ровного, спокойного голоса высовывается острая шпилька, она царапает безмятежное небо добрососедских отношений, и всегда по какому-нибудь пустячному поводу: со звоном разбилось блюдце, чужой мяч помял цветы, детская рука швырнула горсть камешков прямо в лакированный бок машины, вымытое, наглаженное белье забрызгали из садового шланга – только из-за таких пустяков повышаются спокойные голоса, которые никогда не позволяют себе повиситься из-за лжи, измены, аборт.

– Ах, у тебя просто уши слишком чувствительны, прими какое-нибудь лекарство.

– Не принимай, Мари.

Открытая входная дверь, тишина, приятное тепло. Маленькая Марихен спит наверху. Да, все пойдет быстро: свадьба в Бонне, медовый месяц в Риме, беременность, роды – и каштановые локоны на белоснежной детской подушке. Помнишь, как он показывал нам этот дом и бодро провозгласил: «Тут хватит места для двенадцати ребятишек!» – и как теперь по утрам за завтраком он окидывает тебя взглядом, с невысказанным вопросом на губах: «Ну как?» – а простодушные люди, его дружки по партии и церкви, после третьей рюмки коньяку восклицают: «От одного до двенадцати грубо ориентировочно еще одиннадцати не хватает!»

В городе перешептываются. Ты опять ходила в кино, в такой чудесный солнечный день – в кино. И снова в кино, и снова.

А весь вечер одна в их кругу, дома у Блотерта, и в ушах только «ка-ка-ка», и дальше ничего, даже не «...нцлер», не «...толон». Как чужеродное тело, перекачивается это слово у тебя в ушах. Похоже на «эталон» и еще на название какой-то опухоли. В Блотерте сидит что-то вроде счетчика Гейгера, он обнаруживает при помощи его, есть в человеке «католон» или нету: «В этом есть – в этом нету – в этом есть». Как ромашку обрывают: любит – не любит. Она меня любит. На «католон» проверяются футбольные команды, друзья по партии, правительство и оппозиция. Его ищут, как расовый признак, – и не находят: нос нордический, а рот – романский. Но в одном человеке этот «католон» есть, он им доверху начинен, тем, чего так жаждут, так алчут другие. Это Блотерт, но берегись его взгляда, Мари, в нем запоздалое вожде-

ние, семинарское представление о шестой заповеди, и когда он рассуждает о небезызвестных грехах, он говорит только по-латыни: ин сексто, де сексто. Ну конечно, звучит как «секс». А его милые детки! Старшим – восемнадцатилетнему Губерту и семнадцатилетней Маргрет – он разрешает лечь попозже, чтобы им на пользу пошли разговоры старших. О «католоне», о сословном государстве, о смертной казни – от этих слов в глазах госпожи Блотерт вспыхивают какие-то странные огоньки, а голос срывается на высокие нотки, смесь какого-то плотоядного смеха и слез. Ты пыталась утешиться плоским «левацким» цинизмом Фредебойля – напрасно! Напрасно ты пыталась рассердиться на плоский «правый» цинизм Блотерта. Есть чудесное слово: «Ничто». Думай ни о чем. Ни о канцлере, ни о «католоне», думай о клоуне, который плачет в ванне и расплескивает кофе себе на туфли.

XV

Я воспринимал этот звук, но безотносительно к себе, я слышал его часто, но мне не приходилось на него отзывать: у нас дома на дверной звонок отзывались горничные, а в лавке Деркумов я тоже часто слышал дверной звонок, но никогда не отвечал на него. В Кёльне мы жили в пансионе, в отелях звонит только телефон. И сейчас я слышал звонок, но не отвечал на него. Мне он казался незнакомым, да и слышал я его у себя в квартире только дважды: один раз, когда мальчишка принес молоко, и второй, когда Цюпфнер прислал Мари чайные розы. Когда принесли розы, я лежал в кровати, Мари вошла ко мне, показала розы, с восхищением окунула лицо в букет, и тут вышло ужасно глупое недоразумение: я подумал, что розы прислали мне. Случалось, что поклонницы посылали мне цветы в отель. Я сказал Мари:

– Чудесные розы, оставь их себе!

А она посмотрела на меня и сказала:

– А их мне и прислали!

Я покраснел. Мне стало неловко, я вспомнил, что никогда не посылал цветов Мари. Конечно, я ей отдавал все цветы, которые мне преподносили на выступлениях, но я никогда не покупал цветов специально для нее, да и за букеты, которые мне преподносили, тоже обычно приходилось платить самому.

– Кто же это их прислал? – спросил я.

– Цюпфнер, – сказала она.

– Что за чертовщина! – сказал я. – Это еще зачем? – Я вспомнил, как они держались за ручки.

Мари покраснела и сказала:

– А почему он не может посылать мне цветы?

– Вопрос надо ставить по-другому, – сказал я, – почему он должен посылать тебе цветы?

– Мы давным-давно знакомы, – сказала она, – может быть, он даже мой поклонник.

– Отлично, – сказал я, – пусть его поклоняется, но посылать такие огромные дорогие букеты просто назойливо. Больше того, это безвкусно.

Она обиделась и вышла из комнаты.

Когда пришел мальчишка из молочной, мы сидели в столовой, и Мари открыла двери и отдала ему деньги. Гости у нас тут были только раз: приходил Лео, тогда он еще не принял католичество, но звонить ему не пришлось – он поднялся вместе с Мари.

Звонок звенел как-то странно – робко и вместе с тем упорно. Я страшно испугался – а вдруг это Моника, вдруг ее под каким-нибудь предлогом прислал Зоммервилд? На меня сразу напал нибелунговский комплекс. Я выбежал в мокрых туфлях в прихожую и никак не мог найти кнопку, на которую нужно было нажать. Пока я ее искал, я вспомнил, что у Моника есть ключ от квартиры. Наконец я нашел кнопку, нажал ее и услышал снизу шум, как будто большой шмель забился о стекло. Я вышел на площадку и встал у лифта. Зажегся сигнал «занято», потом вспыхнула единица, потом двойка, я беспокойно смотрел на цифры и вдруг заметил, что рядом со мной кто-то стоит. Я испуганно обернулся: хорошенькая женщина, блондинка, не слишком худая, с очень милыми светло-серыми глазами. Только шляпка у нее, на мой вкус, была слишком красная.

– Наверно, вы – господин Шнир? Моя фамилия Гребзель, я ваша соседка. Рада, что наконец-то я вас увидела.

– Я тоже рад, – сказал я, и я действительно был очень рад: несмотря на красную шляпку, глядеть на госпожу Гребзель было очень приятно. Я увидел у нее в руках газету «Голос Бонна», она проследила за моим взглядом, покраснела и сказала:

– Не обращайтесь на это внимания!

– Я дам этому негодяю по морде! – сказал я. – Если бы вы только знали, какой это жалкий, подлый лицемер, и притом он меня еще надул на целую бутылку водки!

Она рассмеялась.

– Мы с мужем были бы очень рады, если бы можно было закрепить наше знакомство, – сказала она. – Вы тут долго пробудете?

– Да, – сказал я, – я вам как-нибудь позвоню, если разрешите. А у вас тоже все красно-рыжее?

– Ну конечно, – сказала она, – это ведь отличительный цвет пятого этажа.

Лифт задержался на третьем этаже немного дольше, потом вспыхнула четверка, пятерка, я распахнул дверцы и от изумления отступил на шаг. Из лифта вышел мой отец, подержал дверцы для госпожи Гребзель, пока она входила, и обернулся ко мне.

– Бог мой, – сказал я, – отец! – Никогда раньше я не называл его отцом, всегда папой.

Он сказал: «Ганс»! – и сделал неуклюжую попытку обнять меня. Я прошел вперед, в квартиру, взял у него пальто и шляпу, открыл дверь в столовую, показал на диван. Прежде чем сесть, он выбирал место поудобнее.

Мы оба были страшно смущены. Смущение, как видно, единственный способ общения между детьми и родителями. Наверно, мой возглас «отец» звучал чересчур приподнято, от этого мы еще больше смутились. Отец сел в одно из красно-рыжих кресел и, неодобрительно качая головой, посмотрел на меня, на мои насквозь промокшие туфли, на мокрые носки, на слишком длинный, да к тому же огненно-рыжий, халат. Отец невысок, худощав и так изысканно-небрежно изящен, что телевизионщики просто дерутся из-за него, когда надо выступать по каким-нибудь экономическим вопросам. При этом он весь светится добротой и мудростью, чем и завоевал себе на телевидении такую славу, какой ему не достигнуть в качестве угольного магната. Ему ненавистен даже малейший налет грубости. Когда его видишь, кажется, что он должен курить сигары, не толстые, а тоненькие, легкие, и то, что он, почти семидесятилетний капиталист, курит сигареты, особенно молодит его и делает современным. Вполне понятно, что его приглашают выступать на всяких дискуссиях, где речь идет о деньгах. По нему видно, что от него не просто исходит доброжелательность, но что он и на самом деле очень добрый. Я подал ему сигареты, дал прикурить, и когда я к нему нагнулся, он сказал:

– О клоунах я знаю мало, но кое-что мне все же известно. А вот то, что они купаются в кофе, для меня новость. – Он иногда умеет здорово острить.

– Я не купался в кофе, отец, – сказал я, – просто хотел налить себе кофе, и неудачно. – Тут я уже должен был бы назвать его папой, но как-то не успел. – Хочешь выпить?

Он усмехнулся, посмотрел на меня недоверчиво и спросил:

– А что же у тебя в доме есть?

Я пошел на кухню: в холодильнике стоял коньяк, там же было несколько бутылок минеральной воды, лимонаду и бутылка красного вина. Я взял каждого сорта по бутылке, отнес в столовую и выставил перед отцом. Он вынул из кармана очки и стал изучать этикетки. Первым делом он отодвинул бутылку коньяку. Я знал, что он очень любит коньяк, и обиженно сказал:

– Но ведь марка как будто неплохая?

– Марка превосходная, – сказал он, – но лучший коньяк никуда не годится, если его переохладить.

– О Господи, – сказал я, – разве коньяк нельзя ставить в холодильник?

Он посмотрел на меня поверх очков, как будто я только что был уличен во грехе содомском. Он по-своему эстет, ухитряется по утрам раза три-четыре отправлять гренки обратно на кухню, пока Анна не добьется именно той степени поджаренности, какая ему по вкусу, и эта молчаливая борьба каждое утро начинается сызнова, потому что Анна все равно твердо уверена, что гренки – это «англосаксонские штучки».

– Коньяк в холодильнике! – с презрением сказал отец. – Неужели ты и вправду не знаешь или просто притворяешься? С тебя все станется!

– Нет, я не знал, – сказал я.

Он посмотрел на меня испытующе и улыбнулся: видно, поверил мне.

– А ведь сколько денег я истратил на твое образование! – сказал он. Это должно было звучать иронически, именно так, как должен говорить почти семидесятилетний отец со своим вполне взрослым сыном. Но иронии не вышло, она застыла на слове «деньги». Покачав головой, он отверг и лимонад, и красное вино и сказал: – В данных обстоятельствах самым безопасным напитком мне кажется минеральная вода.

Я достал из буфета два стакана, открыл минеральную воду. Кажется, я хоть это сделал правильно. Он одобритительно кивнул, глядя, как я откупориваю бутылку.

– Тебе не помешает, если я останусь в халате? – спросил я.

– Помешает, – сказал, он, – пожалуйста, оденься как следует. Твой вид и этот... этот запах кофе придают всей ситуации комизм, никак ей не соответствующий. Мне надо с тобой поговорить серьезно. А кроме того, – прости за откровенность, – я, как ты, должно быть, знаешь, ненавижу всякое проявление распушенности.

– Это не распушенность, – сказал я, – это просто проявление потребности в отдыхе.

– Не знаю, – сказал он, – не знаю, как часто ты меня слушался в жизни по-настоящему, но сейчас ты, конечно, не обязан проявлять послушание. Я просто прошу тебя сделать мне одолжение.

Я удивился. Раньше отец был скорее робок, почти всегда молчалив. Телевидение научило его спорить и доказывать свою правоту с «неотразимым обаянием». Я слишком устал, чтобы противиться этому обаянию. Я пошел в ванную, снял пропитанные кофе носки, вытер ноги, надел рубашку, брюки, куртку, побежал босиком на кухню, выложил на тарелку разогретую фасоль, выпустил туда же яйца всмятку, выскреб остатки из скорлупок, взял ломоть хлеба, ложку и пошел в столовую. Отец посмотрел на мою тарелку с гримасой, в которой очень умело сочетались удивление и отвращение.

– Прости, – сказал я, – сегодня с девяти утра я ничего не ел, а тебе, наверно, не захочется, чтобы я хлопнулся в обморок к твоим ногам.

Он засмеялся вымученным смехом, покачал головой, вздохнул и сказал:

– Ну ладно, только знаешь, есть одни яичные белки просто вредно.

– Ничего, я потом съем яблоко, – сказал я. Я смешал фасоль с яйцом, откусил хлеба и съел ложку этой каши, она мне показалась очень вкусной.

– Ты бы хоть налил немножко томатного соку, – сказал отец.

– У меня нет, – сказал я.

Ел я слишком торопливо, и те неизбежные звуки, какие производят при еде, явно раздражали отца. Он старался подавить отвращение, но это ему не удавалось, и в конце концов я вышел на кухню, доел, стоя у холодильника, свою кашу и, пока ел, смотрел в зеркало, висящее над холодильником. В последние недели я запустил даже самую важную тренировку – тренировку мышц лица. Клоуну, который достигает главного эффекта тем, что его лицо абсолютно неподвижно, нужно обладать необыкновенно подвижным лицом. Раньше, до того как начать тренировку, я показывал язык своему отражению, чтобы стать самому себе как можно ближе, прежде чем начать от себя отчуждаться. Потом я это бросил и просто, без всяких трюков, смотрел на свое лицо, иногда по полчаса и дольше, пока я наконец не переставал существовать; а так как я вовсе не склонен к самолюбованию, то мне иногда казалось, будто я начинаю сходить с ума. Я просто забывал, что это я, что это мое лицо в зеркале, и, окончив тренировку, поворачивал зеркало к стене; а потом, если среди дня мне случалось увидеть себя в зеркале, я пугался: в моей ванной или в уборной на меня смотрел чужой человек, человек, о котором я не знал, смешной он или серьезный, какое-то длинноносое, бледное привидение, – и я стремглав

бросался к Мари, чтобы увидеть себя в ее глазах. С тех пор как ее нет, я уже не могу работать над своей мимикой: боюсь сойти с ума. Тогда, после тренировок, я подходил к Мари как можно ближе, пока не видел себя в ее зрачках: крошечным, немножко искаженным, но все же узнаваемым. Это был я, хоть и тот же самый, кого я пугался в зеркале. Как объяснить Цонереру, что без Мари я совсем не могу тренироваться перед зеркалом? Смотреть сейчас в зеркало, как я ем, было не страшно, просто грустно. Я мог сосредоточить взгляд на ложке, видеть, что ем фасоль, со следами белка и желтка на тарелке, смотреть на ломоть хлеба, который все уменьшался. Зеркало показывало мне трогательно-реальные вещи: пустую тарелку, кусок хлеба, который становился все меньше и меньше, слегка запачканные губы – я их вытер рукавом. Но тренироваться я не мог. Не было никого, кто мог бы вернуть меня оттуда, из зеркала.

Я медленно вошел в столовую.

– Слишком быстро, – сказал отец. – Ты ешь слишком быстро. Сядь наконец. Ты ничего не пьешь?

– Нет, – сказал я, – хотел было выпить кофе, да не удалось.

– Хочешь сварю? – спросил он.

– А ты умеешь? – спросил я.

– Говорят, что я отлично варю кофе, – сказал он.

– Да нет, не стоит, – сказал я, – выпью минеральной воды, вообще это не важно.

– Но мне это доставит удовольствие, – сказал он.

– Не надо, – сказал я, – спасибо. В кухне творится черт знает что, огромная лужа кофе, пустые консервные банки, на полу яичная скорлупа.

– Что ж, – сказал он, – как хочешь.

Видно было, что он как-то чересчур обиделся. Он налил мне минеральной воды, подал свой портсигар, я взял сигарету, он зажег спичку, и мы закурили. Мне было его жалко. Должно быть, я совсем сбил его с толку, когда принес тарелку с фасолью. Наверно, он рассчитывал увидеть у меня то, что он представляет себе под словом «богема», – изысканный беспорядок со всякими модернистскими штучками на потолке и на стенах. Но мое жилье обставлено без всякого стиля, случайными вещами, почти что помещански, и я заметил, что на отца это действует удручающе. Сервант мы купили по каталогу, на стенах висели одни репродукции, среди них только две беспредметные, хороши были две акварели Моника Сильвс над комодом: «Рейнский пейзаж III» и «Рейнский пейзаж IV», в темно-серых тонах, с чуть заметными белесыми проблесками. Две-три красивые вещи, которые у нас есть, – кресла, вазы, чайный столик на колесиках – купила Мари. Мой отец из тех людей, которым нужна соответствующая атмосфера, и атмосфера нашей квартирки его нервировала, отнимала дар речи.

– Тебе, наверно, мама сообщила, что я тут? – спросил я наконец, когда мы закурили по второй сигарете, не сказав ни слова.

– Да, – сказал он, – почему ты не мог избавить ее от таких разговоров?

– Если бы она не заговорила своим комитетским голосом, все пошло бы по-другому.

– Ты что-нибудь имеешь против этого комитета? – спокойно спросил он.

– Нет, – сказал я, – очень хорошо, что уничтожают расовые противоречия, но я смотрю на расы совсем по-другому, чем этот комитет. Например, негры – ведь они сейчас последний крик моды, я даже хотел предложить маме привести к ней своего знакомого негра, для украшения общества. Уж не говоря о том, что на свете несколько сот негритянских рас. Без работы ее комитет сидеть не будет. А цыгане! – сказал я. – Надо бы маме пригласить к чаю двух-трех цыган. Прямо с улицы. Вообще дела им хватит.

– Я не об этом хотел говорить с тобой, – сказал он. Я промолчал. Он взглянул на меня и тихо добавил: – Я хотел поговорить с тобой о деньгах. – Я все еще молчал. – Думаю, что положение у тебя несколько затруднительное. Что же ты молчишь?

– Это мягко сказано – «затруднительное», должно быть, мне целый год нельзя будет выступать. Посмотри! – Я подтянул штанину и показал ему распухшее колено, потом спустил штанину и ткнул правым указательным пальцем в левую сторону груди. – И тут, – сказал я.

– Боже мой! – сказал он. – Сердце?

– Да, – сказал я, – сердце.

– Сейчас же позвоню Дромерту, попрошу принять тебя. Он лучший сердечник у нас в городе.

– Ты не понял, – сказал я, – не нужна мне никакая консультация у Дромерта.

– Ты же сам сказал: сердце.

– Может быть, нужно было сказать: душа, чувство, нутро, но мне показалось, что «сердце» – самое подходящее слово.

– Ах вот оно что, – сухо сказал он, – ты об этой истории.

Наверно, Зоммервильд уже рассказал ему об «этой истории» за партией ската в клубе, между порцией заячьего рагу, бутылкой пива и червами без трех.

Он встал и начал расхаживать по комнате, потом остановился за креслом, облокотился на спинку и посмотрел на меня сверху вниз.

– Пышные фразы обычно звучат как-то глупо, – сказал он, – но я должен тебе сказать: знаешь, чего тебе не хватает? Тебе не хватает того, что делает мужчину настоящим мужчиной: умения примириться.

– Это я уже сегодня один раз слышал, – сказал я.

– Тогда послушай и в третий раз: сумей примириться.

– Брось, – сказал я устало.

– Как ты думаешь, легко мне было, когда Лео пришел ко мне и сказал, что переходит в католичество? Для меня это было настоящее горе, как смерть Генриетты. Мне не было бы так горько, даже если бы он сказал, что стал коммунистом. Это я еще могу себе представить – молодой человек мечтает о невозможном, о социальной справедливости и так далее. Но это... – Он впился руками в спинку кресла, резко потрянул головой. – Это – нет, нет! – Как видно, ему и вправду было тяжело. Он совсем побледнел и сейчас выглядел куда старше своих лет.

– Сядь, отец, – сказал я, – выпей коньяку. – Он сел, кивнул на бутылку коньяку, я достал стакан из буфета, налил ему, он взял коньяк и выпил, но не поблагодарив и даже не взглянув на меня.

– Этого ты, конечно, не понимаешь, – сказал он.

– Не понимаю, – сказал я.

– Мне страшно за каждого юношу, который в это верит, – сказал он, – вот почему для меня это было ужасным ударом, но я и с этим примирился, понимаешь, примирился. Почему ты так на меня смотришь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.